



ПРИНЦ-
ПУДЕЛЬ. Новая
волшебная
сказка Лабулэ.

PRINCE
CANICHE, 1861.

ЛАБУЛЭ Эду-
ард Рене
(Edouard René
Lefébvre
Laboulaye,
1811-1883)

ПРИНЦ-ПУДЕЛЬ

Новая волшебная сказка Лабулэ (1).

PRINCE CANICHE, 1861

I.

В славном королевстве Ротозеев царствовала династия Тюльпанов. У одного из королей этой династии после пятнадцатилетнего бесплодного супружества родился сын, которого по заведённому обычаю называли принцем Гиацинтом. Одна из приятельниц королевской фамилии, фея дня, согласилась быть крестною матерью ребёнка. Во время празднования великолепных крестин раздался неожиданный стук в

двери зала; все придворные на несколько минут окаменели; король сам пошёл открывать дверь, и в зал вошла фея ночи, которую забыли или не хотели пригласить на праздник. Она подошла к колыбели принца и объявила, что дарит ему ум, силу и красоту.

– Таково моё мщение, король Ротозеев, – сказала фея. – Теперь прощай.

И она тотчас же ушла, несмотря на упрашивания короля и его супруги.

Фея дня осталась у колыбели и, взмахнув над нею жезлом, сказала дрожащим голосом:

– Гиацинт, чтобы спасти тебя от козней моей сестры, я хочу, чтобы ты, начиная с шестнадцатого года твоей жизни, в тот день и час, который мне угодно будет назначить...



– Остановитесь, сударыня, остановитесь,
– закричал король, – сын мой одарён все-
ми совершенствами, не желайте ему ниче-
го, я вас умоляю.

– Чтобы ты, – продолжала фея, возвы-
шая голос, – превращался в пуделя.

Окаменевшие придворные не слышали
ужасных слов феи, но король и королева
закричали от ужаса, заплакали, стали уп-
рашивать фею, и всё напрасно. Уходя из
дворца, фея дня объявила родителям
принца, что Гиацинт умрёт, если ему ко-
гда-либо откроют тайну его превращений.

Отец Гиацинта, после ухода феи, стал
бранить её.

– Я всегда подозревал, – говорил он с
жаром, – что от феи дня нечего ждать доб-
ра. Теперь я в этом уверен. Проклятая
фея...

Королева постаралась его успокоить. Решено было хранить слово феи в строжайшей тайне. Окаменевшие придворные снова сделались живыми людьми, и пир окончился благополучно.

II.

Король Ротозеев умер тогда, когда его сыну и наследнику было только десять лет. По законам страны королева сделалась правительницею государства. Придворная газета «Официальная истина» каждый день воспевала хвалу королеве-правительнице и ставила её выше Семирамиды, Зеновии, Бланки Кастильской, святой королевы Изабеллы и всех женщин, державших со славою кормило правления.

Но, если можно сказать об этом потихоньку, Ротозеи были недовольны и имели на то свои основательные причины. Королева была одержима всеми слабостями женщины и не выкупала их ни одним из тех блестящих качеств, которые составляют гордость и радость великой нации.

Скромная, расчётливая, миролюбивая, бедная королева управляла своим государством так, как мещанка ведёт своё хозяй-

ство и присматривает за своим бульоном. Она жила в мире со всеми соседями, сильными и слабыми; никому не угрожала; всякому предоставлялась свобода сажать свою капусту, прясть свою шерсть, покупать, продавать, молиться, действовать и говорить по собственному благоусмотрению. По незаслуженному счастью каждый год доходы значительно превышали расходы и весь излишек употреблялся самым плоским образом на уплату долгов и на уменьшение налогов. Удивительно ли, что такая политика возмущала великодушную нацию Ротозеев? Этому благородному коню нужны звуки труб, раскаты барабанов, суматоха сражений, пыл цирков, шум и блеск зрелищ, случайности лотереи; он не может жить презренною работою, как ломовая лошадь или рабочий вол. К счастью, Гиацинт был жив! Гиацинт, кумир народа и надежда двора!



Фея ночи сдержала слово. Гиацинт был красив как Аполлон и могуч как Геркулес. Десяти лет от роду он выбросил за окошко двоих своих наставников. Третий его учитель, маленький аббат, кривой, хромой и горбатый, ужился с ним благополучно и успел ему внушить, что умный человек ничем не должен восхищаться и должен смотреть с сострадательным презрением на жалкое человечество. Благодаря этому укрепляющему воспитанию, Гиацинт, пятнадцати лет от роду, не знал ни застенчивости, ни сомнений. В придворных салонах он не давал спуска никому, обнаруживая самоуверенность философа, заглянувшего в самую сущность вещей, и развязность принца, знающего, что ему всё дозволено. Он говорил о войне с адвокатами, о правосудии – с финансистами, о религии – с медиками, об экономии – с придворными, о живописи – с красавицами, и всё это таким серьёзным и в то же время ироническим тоном, что ставил в тупик самых смелых людей. Все женщины были от него без ума,

а в стране Ротозеев чего хочет женщина, того хочет Бог, и что видит женщина, то принуждён видеть и её муж. Поэтому все с нетерпением ожидали, чтобы молодому королю исполнилось шестнадцать лет.

Вдовствующая королева под конец регентства удивила своих подданных внезапно развившеюся страстью к собакам. Стаи борзых, гончих, легавых, бульдогов, болонок и других собак были закуплены по дорогой цене и поселены в самом дворце. В этих действиях королевы скрывался глубокий политический расчёт. Она предвидела то время, когда сын её превратится в пуделя, и хотела, чтобы он тогда имел, по крайней мере, преданную прислугу.

III. О ПОЛИТИЧЕСКОЙ АРИФМЕТИКЕ У РОТОЗЕЕВ.

Наконец наступил желанный день совершеннолетия. Коронация молодого красавца Гиацинта была отпразднована с должным шумом и великолепием. По окончании церемонии король, по желанию своей матери, в тот же день отправился председательствовать в совете министров и учиться своему королевскому ремеслу.

Всем известно, что народ Ротозеев, тщательно воспитанный в течение многих веков в принципах самой чистой схоластики, питает глубочайшее презрение к опыту и

верует только в математику, в метафизику, в логику и риторику. Его законодатели, соображаясь с его наклонностями, обратились к психологии с запросами о надлежащей форме правления.

Как в человеческой душе существуют три отдельные и тесно связанные между собою силы – мысль, слово и действие, так и у Ротозеев существуют три главные министерства и три главные, совершенно независимые друг от друга, министра. Первый управляет, ни с кем не советуясь; второй говорит, ничего не делая; третий даёт советы, которых никто не слушает. Благодаря этому остроумному разделению властей чистый разум удовлетворён, логика уважается, метафора торжествует, и ничто не стесняет непрерывного действия отеческой власти.

Когда король вошёл в залу совета, он застал там министров, которые должны были довершить его образование. Эти три государственные человека, оставившие вели-

кое имя в летописях Ротозеев, были граф Туш-а-Ту (2), барон Жеронт Плёрар (3) и кавалер Пиборнь (4), некогда блистательнейший из адвокатов, а теперь украшение трибуны и защитник правительства.

Туш-а-Ту был маленький человечек, худой, чёрный, вертлявый, не знавший ни удовольствий, ни отдыха, ни сна. Никогда никто не видал, чтобы он смеялся или плакал. С утра до вечера, и с вечера до утра, он подписывал, подписывал, подписывал. Пока он писал правою рукою, он звонил левою и посылал приказание за приказанием, инструкцию за инструкцией, назначение за назначением, депешу за депешою, курьера за курьером. Можно было подумать, что на нём лежал земной шар, готовый обрушиться, если этот неутомимый маленький человек на минуту перестанет подписывать.

Барон Жеронт Плёрар был большой старик, худой и лысый, с длинным носом и с бесконечным подбородком. Он носил ог-

ромные синие очки, придававшие ему вид филина, нюхал табак через каждые пять минут и вздыхал при каждом слове. Он был мудрец. Он не думал, не говорил и не делал ничего такого, что не было бы продумано, сказано или сделано до него. Он всё знал и ни в чём не сомневался. Поэтому места и почести лились дождём на эту непогрешимую голову. Ротозеи смотрели на него, как на самую твёрдую подпору государства.

Адвокат Пиборнь, весёлый кутила, дышал силой и здоровьем. Цветущее лицо, насмешливые глаза, вздёрнутый нос, толстые губы, тройной подбородок – всё в нём показывало, что ему хорошо жить на свете и что ему нет охоты убивать себя за общее дело. Скрестив руки на груди, высоко подняв голову, бросая кругом дерзкие взгляды, он был похож на отдыхающего боксёра.



По приглашению короля все присели к столу. Заседание совета началось. Туш-а-Ту совсем исчез за горами бумаг; барон Плёрар держал на коленях большой пустой портфель; Пиборнь, не стеснённый ничем, закинул ногу на ногу, запустил руки в карманы и, отбросив голову назад, стал следить глазами за мухами, летавшими по комнате.

– Государь, – начал граф Туш-а-Ту. – старинный обычай требует, чтобы каждый король Ротозеев, вступая на престол, прежде всего пользовался славнейшим из всех своих прав, правом помилования, Вот список нескольких мелких преступников, воров, мошенников, убийц; мы умоляем ваше величество даровать им свободу.

– Так ли я расслышал? – сказал Гиацинт, – Вы причисляете убийц к мелким преступникам. Кто же после этого важные преступники?

– Важные преступники, – сказал барон Плёрар, – те нечестивые люди, которые злоупотребляют своим испорченным умом, чтобы нападать на религию, нравственность, государя и его министров. Убийца губит одну жертву, памфлетист отравляет целое поколение.

– Хорошо, – сказал король, – я полагаюсь на вашу опытность и подписываю.

– Государь, – заговорил снова Туш-а-Ту, – обычай требует также, чтобы ваше величество собственноручно приложили печать к этому первому акту вашего царствования, чтобы засвидетельствовать, что одному королю принадлежит право приказывать. Сургуч готов, вот печати.

Гиацинт вдавил печать в растопленный сургуч, потом взглянул на оттиск и увидел четверугольную фигуру, с четырьмя символическими словами по сторонам и кольцом посередине.

– Что это? – спросил он. – Что значит кольцо посреди этих четырёх слов?

– Государь, это кольцо – не кольцо. Это символический образ вашей особы. Вы единственная незанумерованная особа во всём королевстве, – ответил Туш-а-Ту, – Вам неизвестно, что каждый Ротозей, рождаясь на свет, получает номер, который никогда не покидает его и следует за ним даже в могилу.

– Удивительное изобретение, – продолжал министр, воодушевляясь. – Оно вносит порядок в среду хаоса, оно подводит под; закон числа бесконечное разнообразие этих существ, различных по возрасту, по полу, по характеру, по уму, по состоянию, этих существ, которыми переполнена наша великая страна. Оно сводит дело управления к простой арифметической задаче. Судите сами, ваше величество. Вот мой формулярный список, или моя картуша, как говорит закон.

С этими словами Туш-а-Ту отстегнул от своего рукава лоскуток сукна, на которое были нашиты следующие цифры: 625,52,296, 3156.

– Есть ли возможность, – продолжал он, – выразить яснее, энергичнее и короче, что меня зовут графом Туш-а-Ту, что я родился в бывшем местечке Фоконвиль, 18 января, в год от сотворения мира 7810. что я вдовец с одним ребёнком, что я крупный землевладелец и чиновник первого класса?

– Вы видите это всё в этих девяти цифрах? – спросил Гиацинт, изумлённый и очарованный.

– Прошу вас уделить мне минуту внимания. Вы узнаете тотчас самую замысловатую комбинацию, придуманную самым остроумным народом земного шара. В былое время, государь, во время царствование вашего знаменитого прадеда, страна Ротозеев была жалким образом разделена на провинции, кантоны, города и деревни

различных наименований. Год был разделён на месяцы, месяцы на недели и недели на дни; эти месяцы и эти дни имели особые названия; разнообразие было бесконечное, путаница постоянная. Тут были нагромождены исторические воспоминания, расстраивавшие самым плачевным образом административное однообразие. Наши отцы, одарённые геометрическим складом ума, счистили прочь всё прошедшее; если они и не сумели достигнуть того полного единства, которое и нам не даётся в руки, то они по крайней мере сразу превратили в цифры географию, альманах и формулярные списки. Это одно из тех великих открытий, на которые мир смотрит с завистью, не осмеливаясь их у нас заимствовать. Каждый год при уплате налога Ротозей получает лоскуток, на котором нашито девять цифр, и, под страхом штрафа и тюрьмы, он обязан носить его на левой руке. Из этих девяти цифр три первые означают пространство, три следующие – время, три последние – личность. Не угодно

ли вашему величеству посмотреть на три первые цифры моей картуши; знаки 6, 2, 5 выражают ясно, что я родился в 6-й провинции, во 2-м кантоне, в 5-й общине, т. е. в бывшем Фоконвиле, как показывают лексиконы. Следующие цифры 52...

– Что это такое 52? – спросил Гиацинт.

– Государь, мы так пишем десять. Мы считаем до девяти, чтобы у нас никогда не было больше одной цифры в каждом столбце. Числа 52, 296 говорят наглядно, что в десятый год века, во вторую девятку (так называется наша обновлённая неделя) и в 9-й день я записан шестым в метрическую книгу. Далее, число 3156 означает моё положение в семействе и в обществе. Цифра 31 выражает, что я вдовец с одним ребёнком. У меня была цифра 2, когда жена моя была жива, и цифра 1 до моей женитьбы. Следующая цифра 5 показывает, что я принадлежу к пятому классу, то есть к крупным землевладельцам. Номер 1 – даётся пролетариям; 2 – тем, кто платит

только подушную подать; 3 – патентованным; 4 – мелким собственникам. Наконец, цифра 6 показывает, что я принадлежу к 6 классу, то есть к высшим чиновникам. Крестьяне обозначаются номером 1-м; работники – 2; купцы и фабриканты – 3; солдаты – 4; чиновники и жандармы – 5. Всё это поразительно просто.

– Слишком просто, – сказал, вздыхая, барон Плёрар. – В старину было лучше.

Туш-а-Ту, не отвечая ни слова, пожал плечами»

– Возвышенному уму вашего величества, – продолжал он, обращаясь к королю, – без сомнения, ясны бесчисленные выгоды, вытекающие из этого удивительного упрощения. Положим, молодому человеку хочется жениться; нет никакой надобности наводить справки о его положении и состоянии; его номер говорит всё. Пусть попробует кокетка скрывать свои года, пусть какой-нибудь интриган нарядится в павли-

ныи перья, пусть заважничает какой-нибудь мещанин, их можно сразу осадить одним словом: покажите ваш номер. И так как высший идеал и последняя цель правительства состоит в том, чтобы вести и дисциплинировать народ, как армию, то может ли быть что-либо прекраснее такой системы, где всякий подведён под ранжир, внесён в список, отмечен и занумерован. Какое торжество однообразия! Я надеюсь, что на этом дело не остановится и что ваше величество прославите ваше царствование, доведя реформу до конца. К чему эти собственные имена, нарушающие административную правильность? Равенство не терпит этих устарелых отличий. С какого права один называется де-Розье, де-ла-Фрамбуазьер, или де-ла-Шене, а другой носит скромное имя Пуаро, Помье или Ла-Пьер? Гораздо проще сказать: я – 734, 1926, 2345; жена моя – 321, 9258, 2345; а старший сын – 734, 7542, 133.

Две последние цифры с первого взгляда показывают звание: 33 – патентованный фабрикант, 45 – зажиточный чиновник, 56 – важный чиновник. Что может быть замысловатее и яснее? География, хронология, биография, статистика, финансы – всё содержится в этой чудотворной арифметике. Это – единство в науке и в государстве.

Поставленная выше пространства и времени, королевская власть бессмертна. У венценосца нет семейства – он отец своих подданных; у него нет особого состояния – ему принадлежит всё то, чем владеют его дети; они с восторгом повергают к его стопам свои деньги, свои силы и свою жизнь.

– Всё это очень остроумно, – сказал Гиацинт, – и я начинаю понимать ту поговорку, что для успехов в свете главное дело – получить хороший номер.

IV. ГИАЦИНТ ОБУЧАЕТСЯ ВЕЛИКОМУ ИСКУССТВУ УПРАВЛЯТЬ.

– Я прошу ваше величество приступить к очередным делам, – продолжал Туш-а-Ту, ворочая свои бумаги. – Это – счастье страны, что ваша юная мудрость с первого дня отрывается от удовольствий и празднеств, потому что администрация не ждёт. С нынешнего утра я принуждён был произвести сто новых назначений, и теперь необходимо их подписать.

– Сто вакансий в шесть часов? – спросил Гиацинт с некоторым изумлением.

– Так точно, государь, – ответил Туш-а-Ту, не переставая писать. – По последним статистическим данным, мы имеем 885,657 чиновников на жалованье, 15,212 сверхштатных и 12,525 сверхштатных кандидатов. Итого 413,394 чиновника, посвящающие себя государственной службе. Принимая среднюю норму повышения в пять лет,

мы получаем на год по 32,678 $\frac{4}{5}$ назначений, на месяц по 6,889 $\frac{9}{10}$, а на день по 229 $\frac{3}{6}$.

– Это целая армия, – сказал Гиацинт.

– Увы! Государь, – сказал барон Плёрар, возводя очи к небу, – этого слишком мало. Этот негодный народ так ленив, так строптив, так лукав, что по-настоящему надо было бы к каждому жителю приставить по два чиновника, чтобы один принуждал его работать, а другой заставлял его молчать. Да к тому и придёт дело когда-нибудь. Дай Бог только, чтобы спохватились вовремя, и чтобы революция...

Он вздохнул, открыл табакерку и с умилением посмотрел на юного короля.

– Государь, – заговорил Туш-а-Ту, – я полагал, что воцарение вашего величества должно быть ознаменовано некоторыми из тех великих дел, которые упрочивают бессмертие за королями и отпечатлеваются неизгладимыми чертами в жизни народов.

Доставить счастье вашим подданным и оставить имя в истории – таковы, я в том уверен, высокие стремления вашего величества.

– Вы меня поняли, – сказал Гиацинт, тронутый этим приступом.

– Государь, – продолжал Туш-а-Ту, – ваши предки основали величественную систему, одинаково изумительную по своей обширности и по своей прочности; но ничто не сделано, пока ещё остаётся дело впереди. Уже каждый Ротозей находится в наших руках в течение всей своей жизни. Мы вносим его в списки при рождении, мы его обучаем, подчиняем конскрипции, ведём, наказываем, облагаем податями, дисциплинируем, женим, украшаем орденами и хороним. Но от рождения до смерти сколько раз он от нас ускользает, сколько пробелов остаётся пополнить!

– О, друг мой! – завопил барон Плёрар со слезами в голосе. – Да благословит вас

Бог, вас и ваш подвиг! Обуздывайте это мятежное племя; отнимите у него возможность делать зло и оставьте ему свободу только на делание добра.

– Вот, – сказал Туш-а-Ту, – эти маленькие законопроекты удовлетворят до некоторой степени благородным желаниям моего добродетельного друга.

Он стал читать:

«ОБЩЕЕ ИНСПЕКТИРОВАНИЕ ЮНЫХ РОТОЗЕЕВ ОТ ГОДОВОГО ДО ДЕСЯТИ-ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА.

Гиацинт, милостью судьбы и покровительством фей, король Ротозеев, князь Зевачества, герцог Суеты я проч., всем ныне существующим и грядущим привет.

Принимая во внимание, что государство не существует для гражданина, но что гражданин существует для государства, по той убедительной причине, представленной

некогда великим Аристотелем, что целое больше части и что, по теории, оно существует раньше её;

принимая во внимание, что отцы и матери семейств обязаны фабриковать для государства будущих плательщиков податей, будущих управляемых и рекрутов;

принимая во внимание, что государство не только имеет право, но что на нём даже лежит обязанность удостоверяться в том, что продукты этой фабрикации не портятся и не ослабляются дурным управлением – и что таким образом на хорошем правительстве оказывается священный долг наблюдать за всеми детьми, которые однажды сделаются силою и богатством страны.

В силу нашей полной мудрости и нашего верховного могущества мы повелеваем ниже следующее:

Статья 1. Учреждаются инспектор и инспектриса для каждого из кантонов государства, всего 66,686 инспекторов и инспектрис второй степени для 33,333 подвластных нам кантонов.

Статья 2. Учреждаются 3,000 инспекторов и инспектрис первой степени для надзора за 66,666 инспекторами и инспектрисами второй степени.

Статья 3. Учреждаются 300 генеральных инспекторов для надзора за 3,000 инспекторов первой степени.

Статья 4. Каждый инспектор и инспектриса второй степени будут производить ежемесячный смотр всем маленьким мальчикам и всем маленьким девочкам кантона. Они будут наблюдать за тем, чтобы родители, няньки и кормилицы, под страхом штрафа и тюремного заключения, исполняли во всей точности все пункты правил, предписывающих, каким образом следует кормить грудью, питать, поить, поднимать,

класть в постель, обмывать, чесать, при-
глаживать, одевать, раздевать, обувать,
разувать, забавлять и водить на прогулку
юных граждан и юных гражданок. Они бу-
дут подвергать этих юных управляемых
самому тщательному осмотру, отмечая по-
ложение их зубов, свежесть их кожи, дли-
ну и цвет их волос, чистоту их ногтей; они
свесят их, одного за другим, в узаконенных
весах, дабы удостовериться в том, увели-
чивается ли или уменьшается их полнота;
наконец, они будут отвечать со всею точ-
ностью на триста двадцать пять вопросов,
закрывающихся в статистической таблице,
которая будет приложена к сему указу.

Статья 5, Ежемесячные доклады будут
отсылаться в течение недели к инспектору
первой степени, который, снабдив их
своими примечаниями, препроводит все
вместе к генеральному инспектору, кото-
рый, снабдив их своими примечаниями,
препроводит все вместе к министру; после
чего все эти доклады, тщательно прошну-

рованные и занумерованные, будут сложены
в государственные архивы, дабы слу-
жить назиданием грядущим поколениям.

Дан в нашем дворце Фиалок, в нашем
верном городе Утеха-на-Золоте...»

– Вы, стало быть, думаете, – скромно
сказал Гиацинт, – что матери недостаточно
сильно любят своих детей, чтобы хорошо
их воспитывать.

– Упаси меня Боже от такого богохульст-
ва! – воскликнул Туш-а-Ту. – Сердце мате-
ри – сокровище; материнский инстинкт –
самый возвышенный из инстинктов. Надо
только регулировать его; надо только под-
чинять его внушениям мудрой политики.
Надо во что бы то ни стало избавиться от
бича благоустроенных государств, от язвы
индивидуализма. Если мы позволим семьям
воспитывать по их благоусмотрению наших
будущих управляемых, если мы предоста-
вим капризу отцов или матерей цвет нашей

державы – тогда конец спасительному однообразию. Тогда основы государства подорваны. Что вы станете приказывать народу, когда он пестрее платья арлекина? Если же, напротив того, мы будем следовать здоровым началам Ликурга, Платона, Моруса, Фенелона, все наши подданные будут до такой степени похожи друг на друга, что их невозможно будет распознавать. То же платье, та же причёска, та же покорность, то же повиновение. Будут говорить – не нация, а полк Ротозеев. Какой идеал!

– Любезный сподвижник, – сказал Плёрар, – вы говорите только о теле. Что делаете вы, чтобы оформить умы? Подумайте, ум – сатанинское зелье; тут-то и гнездится революция.

– Мой любезный барон, – ответил Туш-а-Ту, поджимая губы. – У вас слаба память. Вы, кажется, забыли, что в наших руках сосредоточивается обучение. Благодаря неподражаемому благоустройству, нет ни

одного юного Ротозея, который не получал бы из наших рук свою умственную пищу, тщательно очищенную от всякого революционного фермента. У нас всё официальное: нравственность, философия, история, истина; весь этот маленький народ живёт одною мыслью, и эта мысль – наша! Чем же он уберётся от влияния той благонамеренной атмосферы, которою мы его окружаем?

– И однако же, – сказал Плёрар, – эти святые, ваши питомцы, впоследствии становятся бесноватыми, и лежат под ярмом, и знать не хотят своих воспитателей.

– Тут виноваты испорченность мира и отсутствие централизации, – ответил Туш-а-Ту, – на это зло есть лекарство: мы его пустим в ход. Слушайте, судите:

«НОВЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ, О БЛАГОУСТРОЕНИИ КНИГ И ЖУРНАЛОВ.

Гиацинт, милостью, и проч.

Принимая во внимание, что истина есть первое благо человека, главная основа его добродетели и его счастья; принимая во внимание, что дело правителя напоить (напоить) своё стадо из этого чистого кладезя, удаляя его от тинистых стезей заблуждения; принимая во внимание, что при возникновении гражданственности, когда истина была неизвестна, могло быть хорошим предоставление людям воли отыскивать истину на свой страх и риск, но что теперь, когда безусловная истина открыта, подобное своеволие может быть только привилегией заблуждаться и вводить в заблуждение других;

что одному правительству, всегда непогрешимому, приличествует рассеивать истину, ибо оно одно ею обладает; принимая во внимание, наконец, что истина едина, а заблуждение многообразно, что истина соединяет людей, а заблуждение их разделяет, и что, следовательно, мудрая политика требует водворения полного единства пре-

имущественно в мире идей, в силу нашей полной мудрости и верховного могущества, мы повелеваем нижеследующее:

Статья 1, В наших владениях будет только один журнал: «Официальная истина».

Статья 2. Все плательщики податей обязаны подписаться на него и читать его утром и вечером.

Статья 3. Для засвидетельствования их успехов в познании официальной истины и в полном благомыслии учреждаются 33,333 инспектора в 33,333 кантонах государства».

– Дальше, дальше, – сказал Гиацинт, зевая, – я уж знаю ваши лестницы инспекторов.

– Система хорошо придуманная, – воскликнул барон Плёрар, – но с нею мы ещё

остаёмся далеко позади удивительной полиции японцев. В их счастливой стране закон, относясь с справедливым недоверием к врождённому коварству людей, превращает каждую отдельную личность в соглядатая, обвинителя и судью соседа, Надзор всех за каждым и каждого за всеми – вот идеал единоличного правительства. Дойдём ли мы до него когда-либо?

– Я продолжаю, – сухо промолвил Туш-а-Ту.

«Статья 4, Заботами правительства будет учреждена официальная библиотека, заключающая в себе все образцовые произведения человеческого ума, тщательно пересмотренные, исправленные и очищенные. Одно это издание будет иметь обращение в государстве; все предыдущие издания будут вывезены за границу и уничтожены в течение года, под страхом штрафа и тюремного заключения».

– Любезный сослуживец, – перебил барон, – при всём моём восторженном уважении к вашему гению позвольте мне сказать со всею откровенностью: вы слишком любите свободу.

– Подобное подозрение!.. – сказал Туш-а-Ту.

– Да, – закричал барон, – в вас ещё не умер ветхий человек; у вас нет той непоколебимой логики, которая доводит идеи до самого конца. Так как правительство обладает всею истиною, то какая ему надобность предавать её на суетное суждение толпы? Любопытство еретично; учёность – дело дьявольское и революционное. Всякое чтение – яд; всех счастливее тот народ, который читает как можно меньше; всех добродетельнее тот, который совсем не читает.

– Я смотрю иначе, – сказал Туш-а-Ту, – я думаю, напротив того, что государь возве-

личивает себя, оказывая покровительство литературе и искусствам. Весь вопрос в том, чтобы направлять их с кротостью и делать из них орудие нравственности и правительства. Литература составляет отраду Ротозеев, я не хочу отнимать у них это невинное удовольствие; я думаю, что государю свойственна роль Мецената, или, точнее, Августа, платящего за любовные песни Горация и за невинные георгики Вергилия.

«Статья 5. Для поощрения литературы и окрыления гения основываются две большие ежегодные премии: одна по части поэзии, другая по части красноречия.

Для соискания премии красноречия предлагается написать речь в ответ на прекрасный вопрос: Какой теперь первый народ на земном, шаре? Для премии по части поэзии предлагается написать разго-

вор двух пастухов О новой звезде, показавшейся на небосклоне Ротозеев».

– Как вы неосторожны, – закричал барон, – вы играете огнём; вы революционер, сами того не зная; это самая опасная порода революционеров. Опасность не в предложенных темах, а в зуде писания, который вы прививаете тщеславному народу. Вы возбуждаете презрение к невинности и простоте, обычным спутницам невежества. Вы поощряете пытливость, ухищрённость, знание, которые влекут за собою лукавство, гордость и мятеж. В благоустроенной стране, какая надобность потакать всем этим литературным трутням? Требуются только работники, чиновники и солдаты.

Наконец королю надоело сидеть в совете, и он, прекратив все изложения мотивов и прения о представленных проектах, стал тороплива подписывать, не читая, все бумаги, подносимые ему графом Туш-а-ту.

V. АДВОКАТ ПИБОРНЬ ПОКАЗЫВАЕТ ГИАЦИНТУ ИГРУ ПОЛИТИЧЕСКОГО КРАСНОРЕЧИЯ.

– Поговорим теперь свободно, – сказал молодой король, окончив подписывание очередных бумаг. – На мой взгляд, административное искусство очень похоже на умение устраивать пляску марионеток. Весь секрет в том, чтобы везде привязывать невидимые нитки и потом дёргать их вовремя.

– Государь, – вскрикнул барон дребезжащим голосом, – позвольте мне пролить слёзы радости и восторга. Вы одним словом изволили определить административную политику, единственную политику, достойную этого имени. Никогда никто не делал более прекрасного и верного сравнения.

– Таково и моё скромное мнение, – сказал Туш-а-Ту, – только здесь сцена так об-

ширна, а актёры так многочисленны и подвижны, что повелевающая воля нуждается во многих тысячах повинующихся рук.

– Вы забываете, – с благосклонной улыбкой промолвил Гиацинт, – что необходимы также зрелые и осторожные умы, просвещающие эту молодую волю своими советами. Я этого не забуду. Благодарю вас за оказанное мне добросовестное содействие. Жалею только о том, что господин кавалер де Пиборнь хранил такое несокрушимое молчание; он не дал нам услышать тот красноречивый голос, который составляет предмет восторга для Ротозеев.

– Государь, – сказал адвокат, поднимаясь с места и поворачивая стул, чтобы превратить его в трибуну, – я никогда не говорю в совете; что там делается, то до меня не касается; я изо всего прения не слышал ни слова.

– Но ведь вы же должны, – проговорил молодой король в изумлении, – защищать эти законы перед нашим парламентом?

– Без сомнения, государь, – ответил Пиборнь, – именно поэтому я особенно сильно стараюсь о том, чтобы нисколько не знакомиться с их смыслом и содержанием. Если бы, – продолжал он, возвышая голос до крику и ударяя кулаками по спинке стула, – если бы я старался установить и поддержать солидарность моих мнений с воззрениями министра-законодателя, то могла бы получиться следующая невыгодная complication: при случае воззрения министра могли бы подвергнуться изменению, и тогда эти неотразимые усложнения запутали бы туго натянутые нити моей аргументации.

– На каком вы языке говорите? – спросил Гиацинт.

– Государь, это парламентская тарабарщина. Нам необходим этот жаргон, – чтобы

пропускать наши маленькие идеи под прикрытием крупных и трескучих слов, чарующих впечатлительный народ, которого детство убаюкивалось звоном колоколов и грохотом барабанов. Но, чтобы угодить нашему величеству, я готов решиться на все и буду даже, если прикажете, говорить, как простой смертный.

– Сделайте одолжение, потрудитесь мне отвечать серьёзно. Как же вы осмеливаетесь утверждать, что будете защищать закон, которого вы даже не читали?

– Упаси Боже! Смею ли я говорить с вашим величеством без должного благоговения? Я говорю со всею серьёзностью адвоката. Ваше величество тотчас оценит справедливость моих слов. Вот весь секрет красноречия, – прибавил он, бросая на стол колоду карт. – Я берусь в один час разъяснить кому угодно искусство водить и соблазнять всех Ротозеев, прошедших, настоящих и будущих. Соблаговолите заметить, государь, что эта игра изображает

всю риторику. Каждая из этих карт содержит аргумент. Вот три парика, надетые один на другой. Это – мудрость и опытность наших отцов, здравомыслие наших дедов, степенство доброго старого времени. Эта женщина с завязанными глазами и с наклонённым ватерпасом в руке – это святыня закона, неотменный закон, на который только нечестивец может поднять свою дерзновенную руку. Эта труба, из которой выходят слова: честь, добродетель, патриотизм, нравственность, изображает собою министров и всю административную армию, которой непогрешимые солдаты многочисленнее звёзд небесных и песков морских. Взгляните на этого ребёнка: он не хочет сказать А, потому что иначе его заставят сказать Б; это – счастливая простота и святое неведение, Эта Медузина голова, вся увенчанная змеями, это – клеветник, человек, заподозренный в дурных намерениях, враг государства – словом, тот, кто с нами не согласен. Этот колодезь изображает бездну гибели, где дракон

революции, скрежеща окровавленными зубами, поджидает, как верную добычу, первого дерзновенного человека, который осмелится шевельнуться. На этом знамени написано: кто нападает на нас, тот нападает на правительство. Вот скипетр анархии, и в отдалении эшафот; эта отравленная чаша и на ней, крест-накрест, кинжал и факел – это печать, её всякий узнает. Полюбуйтесь на эту кокетку; она смотрится в зеркало и говорит про себя: весь свет мне завидует: это – счастливая нация Ротозеев, Этот отдыхающий вол пережёвывает жвачку и мычит: зачем менять, когда и без того хорошо: это эмблема тех солидных и практических людей, которым приобретённое состояние внушает склонность к спокойствию, На этой карте улитка с надписью: спеши медленно; а на этой любовная записка, и на печати слова: не сегодня! позднее! Вот фантастические звери: грифоны, химеры, гиппогрифы, сфинксы, это – теории, видения, утопии всех этих мечтателей, нарушающих сон народов. На-

конец, являются четыре туза: черви – благочестие, бубни – нравственность, трефы – правительство, пики – общественный порядок. И вот, в заключение, венец здания, главный онёр, важнейшая карта, закутанная фигура; нельзя распознать ни лица, ни стана; зовут её разумная свобода.

Теперь, государь, тасуйте, снимайте, и я берусь, выхватывая наудачу одну карту за другою, произнести министерскую речь не хуже всех тех, которыми восхищались в течение последнего столетия.

– Всё это, конечно, остроумно, – сказал Гиацинт, немного заинтересованный, – но вам всё-таки надо же говорить о том законе, который вы защищаете.

– Я глубоко сожалею о том, что так дурно объяснился, – ответил Пиборнь, – Сила этих карт или этих великих общих мест состоит в том, что ими можно защитить или опровергнуть что угодно и выиграть процесс, ни разу не заглянувши в подлинное

дело. Пусть ваше величество соблаговолит испытать меня: задумайте какой-нибудь закон, и пусть каждый из моих уважаемых сослуживцев поступит точно так же, я берусь тотчас защитить против нападения оппозиции, одною речью, все три закона, о которых я сам не имею ни малейшего понятия. Смее даже надеяться, что ваше величество не останетесь недовольны этим маленьким опытом. Скажу без хвастовства, я порядком попользовался уроками Цицерона и не думаю, чтобы я был не искуснее моих славных предшественников.

– Хорошо, – сказал король, – я задумал закон. Защищайте.

– А главное, – прибавил барон, – не оттягивайте времени, чтобы приготовить заранее вашу импровизацию.

– Барон, – сказал Пиборнь, – плохо вы меня знаете. Разве я когда-нибудь говорил подумавши? Слушайте: палата потрясена пламенным словом самого искусного ора-

тора оппозиции, министерский проект находится в опасности, предлагают смелую реформу, я всхожу на трибуну и начинаю скромно, по правилам искусства. Друг Плёрар, разложите карты на столе. Хорошо, вот мои аргументы выстроены в шеренгу. Сейчас начнётся церемониальный марш.

Милостивые государи.

Я выслушал с напряжённым вниманием речь почтенного депутата, только что сошедшего с трибуны. Сознаюсь чистосердечно, никогда ещё искусный оратор не поднимался так высоко; он превзошёл самого себя. Я не был бы Ротозеем, если бы я мог сопротивляться стремительному потоку этого красноречия, которое увлекает и возносит вас на самые недостижимые выси идеала; но долг велит государственному человеку бороться с роковым могуществом этих чар; он призывает к себе на помощь и выслушивает только внушения холодного рассудка. Проведённая через это горнило

речь моего уважаемого противника – скажу безбоязненно – не выдерживает испытания, Я вижу в ней только глубокоогорчительное злоупотребление несравненного дарования.

Какова в самом деле та система, которую уважаемый оратор противопоставляет мудрым предначертаниям правительства? Я определю её одним словом: это – нововведение, или, если назвать её настоящим именем, это – революция.

– Bravo, – закричал Плёрар, – давите нечестивую, добрый друг мой, давите нечестивую!

– Будете ли вы утверждать, – продолжал Пиборнь, воодушевляясь, – что защищаемые вами идеи не новы? Нет, вы гордитесь их новостью; но, говоря откровенно, думаете ли вы, что открытия ещё возможны в политике, в этом устраивании (построении) общественных интересов, которое является только приложением опыта и здравого

смысла? Если бы предлагаемая вами мера была спасительна, неужели вы думаете, что она укрылась бы от мудрости и опытности наших отцов, от здравомыслия наших дедов, и осмелюсь выразиться устаревшим словом, от степенства доброго старого времени. Как! Маститые основатели наших учреждений проходили мимо этих великих идей, не замечая их, а нам, измелъчавшим сынам столь славных отцов, предопределена была неувядающая слава такого открытия?! Будем скромнее, милостивые государи; тщеславные самообольщения во все не пристали такой стране, которая столько раз была потрясена губительными переворотами. Среди этих развалин, нагромождённых на развалины, одна скала осталась непоколебленною: это – закон, закон, священное наследство наших предков, которое мы должны передать нашим детям. Исправлять повреждения, сделанные временем, приводить обратно закон к его первобытной чистоте, как предлагает правительство, это – дело сыновней люб-

ви; опрокидывать этот гранитный столб, на котором всё держится, это – нечестие, это – поругание святыни... Вы не имеете права разрывать связи с прошедшим...

Что составляет основной смысл этой меры? Не что иное, как чувство недоверия к правительству его величества. Не освобождение народа составляет цель ваших усилий, вы это знаете; вы стремитесь к тому, чтобы поработить министров и администрацию. И с какого права? Я понимаю предосторожности, когда грозит опасность, но обращаюсь к беспристрастному большинству этой палаты, к этому мужественному, просвещённому, скромному большинству, которое уже так давно защищает вместе с нами общественный порядок. Разве ж оппозиции принадлежит, в самом деле, монополия добродетели, чести, патриотизма, нравственности? Разве патриотизм большинства, разве преданность министров не составляют первую и самую надёжную из всех гарантий?

– Очень хорошо, – сказал Туш-а-Ту.

Нет, палата не увлечётся этими обольстительными миражами. Если бы сегодня она имела слабость уступить, завтра же эти же люди, упоённые своею победою, предложили бы ей новые реформы, которые она уже напрасно старалась бы отклонить. Если вы не воспротивитесь с первого шагу, когда же вы остановитесь, милостивые государи? Когда будет уже слишком поздно, когда вы будете пущены вниз по наклонной плоскости, которая роковым и неудержимым образом ведёт в бездну революций. Вас стараются успокоить, говоря вам, что эти реформы невинны, что они давно уже получили силу закона у соседних народов, что они разливают повсеместно довольство и благосостояние. Это всё, милостивые государи, старые софизмы, которым никогда не поддавались наши предшественники. Ротозеи – первый народ земного шара; мир им завидует; мы – старшие дети цивилизации; мы – образец наций; они должны нам

подражать. Не нам идти по следам отсталых народов. Я отталкиваю эти сомнительные дары; та рука, которою они предложены, усугубляет мои опасения, и кроме того, я говорю откровенно, прямодушно, как истый Ротозей, что мне приятнее заблуждаться вместе с моею родиною, чем обладать истиною вместе с чужеземцами.

– Bravo, – сказал барон, рыдая, – если это не патриотизм, так уж я ровно ничего не смыслю.

Будем последовательны, – продолжал Пиборнь. – Разве мы не счастливы? Разве талант не на своём месте? Разве доходы от налогов, разве полезные расходы не возрастают с каждым годом? Разве тысячи иностранцев, отдавая дань уважения нашему превосходству, не приезжают каждую зиму менять своё золото на наши развлечения и празднества? Разве мы не снабжаем весь мир нашими модами и нашим остроумием? Чтобы удовлетворить беспокойному и ревнивому честолюбию

немногих отдельных лиц, неужели мы будем опрокидывать то гордое здание, которое укрывало наших предков, и будет осеять наших потомков?

Нет, пока у нас останутся силы и голос, мы не потерпим, чтобы дело администрации отделяли от дела страны. Без честолюбия и без малодушия мы будем сражаться со всею энергиею, твёрдо решившись ни под каким видом не отказываться от нашего места, и непоколебимо уверенные в том, что защищая наш портфель, мы защищаем в то же время общество.

– А у этого молодца в самом деле большой талант, – пробормотал Туш-а-Ту, продолжая подписывать.

Говорят о слепом сопротивлении, об упрямстве, о закоснелости, – продолжал Пиборнь растроганным голосом и в наставительном тоне, – но разве ж можно, в самом деле подумать, что этот упрёк попадает в нас? Разве слеп тот, кто освещает себе до-

рогу? Разве упрям тот, кто старается быть осторожным? Мы ничем не хотим спешить, потому что опасаемся последствий; только честолюбие и дерзость пускаются в путь, не зная куда идут. Говорят, что мы не либералы; я отклоняю это обвинение, как обиду. Я ненавижу нововведения, я этого не скрываю – но я люблю улучшения. Я боюсь внезапных реформ, история научила меня, куда они ведут нации; моим девизом я беру слова поэта:

Время не щадит того,
Что без его содействия
Воздвигнуто,

но я сторонник умеренного прогресса, который совершается шаг за шагом под управлением и влиянием предрержащей власти. Наравне со всяким другим честным

гражданином я уважаю свободу печати, я вижу в ней палладиум конституции, но я ненавижу своеволие журналов; я не хочу, чтобы отравляли народ; я не хочу, чтобы убивали невинность; истина освещает, она не зажигает пожаров.

Пусть палата дозволит мне одно, последнее размышление, которое, без сомнения, не укрылось от её практического ума и здравого смысла. Все эти реформы, которые нам предлагаются, слишком прекрасны, чтобы быть исполнимыми. Это утопии. В теории это великолепно, но пусть дойдёт дело до применения! Если бы мудрость палаты не стояла на страже, чтобы устранять все эти химеры, первыми жертвами этих дерзновенных попыток сделались бы те, кто их предлагает. Мы спасаем их от их собственного безрассудства.

И так как оппозиция не скупится в отношении к нам на советы, пусть она позволит мне подать ей также совет. Вместо того, чтобы реформировать государство, консти-

туцию, администрацию и все эти неподражаемые учреждения, составляющие отчаяние наших соперников, пусть оппозиция произведёт реформу в своих собственных недрах; ей не будет недостатка в работе. Пусть она откажется от оскорблений, от резкостей, от клеветы; пусть она не утомляет нас долее своими химерическими теориями; пусть она не мозолит нам – глаза чужеземными затеями, возмущающими наш патриотизм; пусть она не подкапывает более нравственность и религию, правительство и общественный порядок, и я обещаю ей, что в тот день, когда партии сложат оружие, – правительство, избавившись от всех препятствий, парализующих его великодушные намерения, правительство первое позаботится о том, чтобы добрый народ Ротозеев наслаждался в мире разумною и плодотворною свободой.

– Браво, друг мой! – сказал барон. – Если оставить в стороне отвратительную уступку, сделанную в пользу революционной

гнуности, называемой печатью, – то ваша речь окажется образцом красноречия и правдивости.

– Государь, – отвечал Пиборнь скромно, – я ожидаю суждения вашего величества.

– Господин кавалер, поздравляю вас, – ответил Гиацинт. – Мне кажется, трудно высказать идеи более верные и защитить их с большим тактом, с большею умеренностью и убедительностью.

– Так вот же, государь, – весело проговорил адвокат, – если ваше величество изволите, я сию же минуту опровергну эту речь с первого до последнего пункта, я не оставлю в ней камня на камне. Я докажу, что все эти аргументы поддельны и смешны, что они годятся только для потехи Ротозеев. Я вижу, что ваше величество изволите колебаться; вы боитесь, но всей вероятности, что я устал; будьте спокойны; я говорю по шести часов подряд, не кашлянув ни разу. Говорить, кричать, жестику-

лировать – это моё счастье, это моя радость, это моя жизнь. Я начинаю. Будем ковать железо, пока оно горячо.

– Милостивые государи!

Уважаемый министр, только что сошедший с трибуны, говорил с крайнею снисходительностью о том, что ему было угодно называть моим красноречием. Конечно, позволительно гордиться таким свидетельством, Если политика разлучает меня с моим старинным и знаменитым собратом, она не заглушает во мне чувства справедливости и не мешает мне признавать в нём одного из мастеров слова, Демосфена, Цицерона Ротозеев.

– Дьявольщина! – сказал барон. – Ворон ворону глаза не выключет.

– Само собою, – ответил Пиборнь, оскалив зубы, – Мы, прежде всего адвокаты, товарищи на жизнь и на смерть, – Но это не мешает нам кусаться между собою не

хуже бешеных собак. Вот увидите! Пляска сейчас начнётся.

Протянув руку и как бы угрожая ей невидимому врагу, Пиборнь продолжал торжественным тоном:

– Я жалею только, что отозвавшись так благосклонно о моём изложении, уважаемый министр составляет себе такое жалкое понятие о моём здравом смысле. Неужели он надеялся ослепить меня этою плоскою риторикою, заимствованною у греков и римлян? Неужели он думал отвести глаза парламенту этою ребяческою фантазмагориею? Поистине относиться так легкомысленно к представителям страны – значит обнаруживать к ним недостаток уважения, Всем нашим требованиям реформы противопоставляют мудрость и опытность наших отцов. Что значат эти громкие слова? Хотят ли этим выразить, что обыкновенно отцы знают больше своих сыновей, потому что дольше их жили на свете? Нет, эта слишком простая истина остаётся тут ни при

чём. Чтобы заставить нас молчать, вызывают против нас тени тех почтенных предков, которые уже в течение двух или трёх веков покоятся в прахе могил. Но, будем говорить откровенно, – если мудрость, если опытность являются плодом жизни и времени, то слишком очевидно, что эти драгоценные качества принадлежат не нашим предшественникам, а нам, потому что мы последние явились на сцену и присоединили нашу собственную опытность к той, которую оставили нам наши предки. Находясь на более далёком расстоянии от детства мира, мы – старшие, мы – древнейшие, и – прошу извинения у почтенного министра – превозносить прошедшее, чтобы им душить стремления настоящего, – значит давать юности и неопытности все преимущества мужественной зрелости.

– Ересь! Ересь! – застонал Плёрар, поднимая руки к небу. – Всё ухудшилось с первого дня творения.

«Святость, неприкосновенность законов – торжественные и пышные слова, слишком часто клонящиеся исключительно к тому, чтобы замаскировать вопиющее безобразие злоупотребления! Если закон хорош – его надо сохранить; если дурён – надо изменить; вот что говорят мудрость и опытность. Всё остальное годно лишь на то, чтобы тешить легковерие простаков или помогать искусным людям, извлекающим себе поживу из чужой невинности. Разве возможны неизменные законы для такого общества, которое живёт, то есть изменяется и развивается непрерывно? Разве ж можно превратить народ в мумию? Как! Нам принадлежит теперь земля, мы создаём и потребляем богатство, и, однако же, нас не хотят признать лучшими судьями в вопросах о том, что требуется для нашего благосостояния. Мёртвые должны господствовать над живыми? Закон должен оставаться в этих похолодевших руках, превращающих в бездушный камень всё то, к чему они прикасаются? И вот чему муд-

рость и опытность обучают наших государственных людей! Но пускай же они справятся с годами этих святых законов. Разве ж наши отцы не издавали законов, и даже в большом количестве? Строптивые сыны, они, стало быть, топтали в грязь отцовское наследие? Правда, что и деды наши обнаружили так же мало уважения к своим почтенным предкам, которые, с своей стороны, также имели дерзость жить по-своему. Я не сомневаюсь в том, что в эти счастливые века министры прошлого также кричали о светопреставлении; не сомневаюсь я и в том, что со временем будут выкапывать из могилы, для порабощения и притупления наших детей, мудрость и опытность тех самых людей, которых в настоящую минуту клеймят именами безумцев и революционеров.

Нам твердят очень серьёзно, что всякое нововведение подозрительно и опасно; но сказать, что всякая новость дурна, значит признать, что всё старьё, призываемое

против нас, было дурно в своей исходной точке потому, что из всех этих старых вещей нет, ни одной, которая в своё время не была бы новою. Азбука, письмо, книгопечатание – были также подозрительными новостями; эта администрация, которую теперь так гордятся, – её также кто-нибудь да выдумал. Если сегодняшнее безумие становится мудростью завтрашнего дня, то было бы недурно относиться с меньшим пренебрежением к тем, кто работает для будущего.

Что касается до обязательного панегирика министрам и их добродетелям, то да убережёт меня Бог от намерения нарушать это святое доверие! Администрация сосредоточивает в себе весь гений нации – я в том не сомневаюсь; мундир чиновника даёт все таланты и все знания – я в том уверен. Нет ни одного сверхштатного писца, который не был бы образцом усидчивой старательности; все канцелярии непогрешимы, а уж о министрах что и говорить; ни один из

них никогда не сделал ни одного проступка, ни один ни разу не ошибся. Насчёт этого пункта я сошлюсь на них самих; разве хоть один из них хоть раз признал себя неправым? Но позволю себе заметить, что всякий закон основан на недоверии; ни один закон не полагается на добродетели граждан. К чему законы против мошенничества, обмана, насилия? Разве мы не имеем права заподозревать (заподозрить) честность наших соседей? К чему военные законы, повелевающие в некоторых случаях разжаловать и даже расстреливать солдата? Не значит ли это посягать на то, что есть в мире самого чувствительного и щекотливого – на военную честь? Однако закон не знает колебаний, и так как он установлен для всех, то он ни для кого не может быть оскорбителен. Если он не грозит нашим добродетельным министрам, он обрушит кару на нашу голову, когда очутившись, по неожиданному стечению обстоятельств, во главе правления, мы не будем идти по следам наших мудрых предшест-

венников. Мы принимаем общий закон. С какого права вы усматриваете в нём оскорбление?

Скажете ли вы, например, что, если бы судьба поставила нас на ваше место, то вы стали бы молчать из уважения к власти? Я сомневаюсь в этом великодушии, я не требую от вас такой жертвы. Критиковать власть – это единственное средство сдерживать и, в случае надобности, исправлять её. Разве же правительство похоже на одну из тех лавин, мимо которых надо проходить молча, потому что малейший звук заставит её обрушиться? Посмотрите, какие земли всех несчастнее, какие народы всего чаще терзаются революциями – именно те, среди которых царствует глубочайшее молчание. Человеческий ум подобен пару. Непомерно сжатый – он производит взрыв; при должном уважении к его силе, он всё приводит в спасительное движение.

Но, – говорят нам, – если сегодня сделать один шаг, завтра потребуются другой.

Без сомнения, движение – это жизнь; но довлеет дневи злоба его; дорога, пройденная нынче, сократит завтрашний путь. Берегитесь, кричат нам, вам предлагают подражать чужеземцам. Что ж за беда? Разве же чужеземцы нам не подражают? Разве вы не находите этого подражания совершенно естественным? Мир – обширный меновой рынок; эта торговля идей составляет общее богатство; замкнутость и отчуждение порождают только общую бедность! Чем больше мы сближаемся между собою, тем более ослабевают предрассудки и беспричинное недоброжелательство. Перемешайте людей, свяжите их идеями, учреждениями и интересами, и они скоро признают, что принадлежат к одному семейству, что они братья, чувствующие живую потребность обнять друг друга.

"Зачем менять? – прибавляют наши противники. – Нам так хорошо". – Кто это говорит? Министры. В самом деле, политика их чересчур проста. Если народ требует

реформы, это значит, что его подзадоривает оппозиция. Не надо уступать оппозиции. Если народ молчит, не нужно ничего делать. Никто не жалуется – ясное дело, что никому не больно. Когда люди попадают в воду, тогда будет время поставить перила. Не в этом ли основной смысл той прекрасной речи, которую мы выслушали? Ничего не делать и говорить затем, чтобы ничего не высказать, – таков девиз нашего мудрого правительства.

Отвечать ли мне на эти великолепные антитезы, противопоставляющие улучшение нововведению, прогресс – дерзости, свободу – своеволию. Нет, я спрошу только, против какого закона нельзя ратовать этими общими местами; такой способ рассуждения избавляет от необходимости думать здраво и говорить дельно.

Я скажу то же самое обо всех восклицаниях насчёт химер и утопий. Когда люди объявили торжественным тоном, что не любят теорий и отказываются от умозрений

– они воображают себе, что представили доказательства изумительной мудрости. Увы! Этим они только доказали, что сами не понимают своих слов, когда говорят, и не знают смысла своих поступков, когда действуют. Удивительная страна, где министры считают себя тем более разумными, чем сильнее они презирают разум.

Нас приглашают уважать правительство, закон, религию, нравственность. Я отвечаю, что уважаю правительство, когда оно хорошо, закон, когда он справедлив, религию, когда она истинна, нравственность, когда она чиста. Я не имя уважаю, а самое дело. Меня не пугают пустые призраки, вызванные для обольщения тех добрых душ, которые употребляют своё милосердие на потворство злу, а своё благочестие на отстаивание заблуждения.

Что касается до того молчания, которое нам рекомендуется, то мне неизвестно, что, собираясь примкнуть к делу свободы, очень честные люди, робкие и благонаме-

ренные, выжидают таких времён мира и довольства, когда министры-патриоты и послушный народ соединёнными усилиями примутся совершенствовать положение человечества, когда непопулярность будет преследовать каждую несправедливость, каждое заблуждение, каждый софизм. Я так несчастлив, что не верую в этот золотой век, который нам показывают в отдалённом будущем. Я всегда видал, что истина рождается среди слёз и томлений.

Для меня мудрая свобода это просто химера и утопия. Я нигде её не встречал, и история свидетельствует, что когда правительство мешает народам говорить и действовать, тогда оно хочет упрочить за собою право безнаказанно делать зло».

Во время этой длинной речи барон Плёрар, закрыв голову руками, вздыхал так, как будто каждым вздохом хотел опрокинуть столетний дуб, и бормотал слова: ужасно! отвратительно! скандально! Туша-Ту, с самым бесстрастным выражением

лица, безостановочно подписывал бумаги. Гиацинт слушал с возрастающим изумлением. Когда Пиборнь окончил, молодой король сказал:

– Господин кавалер, благодарю вас за урок. Вы очень остроумно показали мне, что я ребёнок и ничего не знаю. Ваша первая речь показалась мне очень разумною; ваша вторая речь, опровергающая первую, кажется мне не менее убедительною. Которая же из двух говорит правду?

– Да ни та, ни другая, государь, – радостно ответил Пиборнь. – Наш брат оратор, смотря по требованиям минуты, заботится о наружном правдоподобию. Какое нам дело до правды, если даже предположить, что она существует? Нынче мы противопоставляем частное общему, завтра будем противопоставлять общее частному. Исключение даёт нам возможность извратить правило, правило даёт нам средства оспаривать исключения. Раз как подача голосов состоялась в нашу пользу, партия вы-

играна, только нам и нужно. Карты меняются, смотря по обстоятельствам.

– Однако, – сказал Гиацинт, краснея за чужую бессовестность, – есть же у вас собственное мнение о самой сущности вещей.

– Нет у меня никакого мнения, – ответил Пиборнь, – и нет мне никакого дела до сущности вещей. Я адвокат правительства, я говорю за него и выигрываю дело. Хорош или дурён процесс, об этом пусть заботятся власти, а я тут ни при чём.

– По крайней мере, объясните же вы мне, каким это образом каждая из этих речей, сама по себе, кажется на вид такою разумною и убедительною.

– Ваше величество изволите от меня требовать тайну адвокатов, – весело промолвил Пиборнь. – Когда вы её узнаете, мы по миру пойдём. Куда ни шло! В двух словах, государь, я посвящу вас во все тайны говорильной науки. Красота этих общих сентенций состоит в том, что они выражают

истины, старые как мир, истоптанные, как столбовые дороги. А недостаток вот какой: они так широки, что всё проходит через них насквозь, и ничего они не доказывают. Примите обе мои речи, отбросьте их обе, всё останетесь на том же месте. Мудрость наших отцов достойна уважения; идеи и потребности дня имеют такие же права; весь вопрос в том, что уничтожается предлагаемым законом, – мудрость наших отцов или их безумие, и чему он соответствует – действительной ли потребности или пустой прихоти. Именно одну эту точку одинаково тщательно обегает и министры и оппозиция. Один уходит на восток, другое убегает на запад. Обе стороны наперерыв друг перед другом улетают как можно дальше от спорного вопроса. Да иначе и невозможно. Чтобы серьёзно обсуживать закон, надо было бы собирать факты, советоваться со специалистами, считать, вычислять, взвешивать, и тогда какая ж возможность оставаться всегда правым? Власть перешла бы

в руки практических людей, и тогда конец адвокатам.

– А большое бы это было несчастье? – спросил Гиацинт.

– Ну, разумеется! – ответил Пиборнь, смеясь. – Примите в расчёт, государь, что мы нашими звучными *adagio* очаровываем всех этих добрых людей, которые видят с восторгом, что песни их кормилиц и поговорки их деревни возводятся в правила государственной мудрости. Гордые тем, что всё они знают, ничему не учившись, они обожают в нас своё собственное блаженное невежество и свою собственную торжественную пошлость. К чему спугивать эту невинную радость, из которой мы извлекаем пользу? Когда можно водить людей словами, к чему убиваться над их дальнейшим просвещением? К чему бросать им в лицо новые истины, которые их ослепляют и пугают? Обманщики, обманутые, трубачи – вот вам весь мир в трёх словах; обманутые хотят только, чтобы у

них не отнимали их заблуждения; обманщики только из того и бьются, чтобы тихо убаюкивать обманутых; пускай же весело играют трубачи!

– Но, – сказал взволнованным голосом Гиацинт, – если красноречие – ничтожный звук трубы, и ещё меньше того – проделка фокусника, то не боитесь ли вы, что, со временем, народы, овладев вашей тайною, поставят риториков на одну доску с шарлатанами?

– Тогда, – сказал Пиборнь, – Ротозеи перестанут быть Ротозеями, Когда человеческая глупость истощится, тогда и мир уже недолго просуществует, А покуда будем спать спокойно и жить во всё своё удовольствие.

В это время в зал совета вошёл камергер и доложил, что королева просит своего августейшего сына пожаловать на вечерний праздник. Король ушёл, за ним отправился Туш-а-Ту в сопровождении четырёх сторо-

жей, которые с величественным видом несли священные горы подписанных и неподписанных бумаг.

Оставшись наедине с Пиборнем, барон разразился.

– Несчастный! – закричал он, – Как вы смеете до такой степени употреблять во зло дары провидения! Не стыдно ли вам.

– Барон, – перебил адвокат, – я заказал в Золочёном Фазане самый утончённый обед – кушанье отменное, вино самое старое. Я надеюсь, вы не откажете мне в чести провести со мною часок с глазу на глаз.

– Да, я с вами пойду, блудное детище, – ответил Плёрар, вздыхая, – но пойду затем, чтобы читать вам проповедь и обращать вас. В мои лета человек отрешился от суетных радостей мира. Да и всё теперь выродилось.

– Даже и устрицы? – недоверчиво спросил Пиборнь.

– Устрицы прежде всего, – ответил барон. – Они теперь совсем не те, что были во времена моей молодости.

– Состарились, – сказал Пиборнь с невинным спокойствием.

– Только одна штука и не состарилась, – закричал барон, приходя в ярость, – это бесстыдство адвокатов. Берегитесь, господин адвокат, как бы вам не прикусить себе – язычок. Вы можете умереть, если с вами случится такой грех.

– Ну, будет, укротите ваш святой гнев, – сказал Пиборнь, смеясь, – вы знаете, что мы, хоть и часто лаем, зато никогда не кушаем. Скажите-ка по секрету, что вы думаете о короле? Я об нём самого лучшего мнения. Видели ли вы, как он зевал, когда Туш-а-Ту заваливал его своими фолиантами? Это показывает счастливый темперамент. Я надеюсь, что этот добрый юноша будет ленив, как его великий отец, и прост, как его знаменитая мать. О, для Ро-

тозеев ещё настанут красные дни, и нашему царству не предвидится конца.

VI.

Из совета Гиацинт направился на великолепный бал. Больше всех других женщин, старавшихся обратить на себя его благосклонное внимание, ему понравилась прелестная блондинка Тамариса, дочь графа Туш-а-Ту. После бала он заснул уже на рассвете и видел во сне, что охотится в лесу вместе с очаровательною Тамарисой. Он весел и счастлив, красавица ему улыбается, он протягивает ей руку... Вдруг ему под лошадь бросается какая-то негодная собака, пудель; лошадь спотыкается, Гиацинт летит через её голову, и просыпается в своей комнате, на полу, в виде пуделя. Он смотрится в зеркало и не узнаёт себя. Он хочет закричать и вместо того начинает лаять.

VII. ГИАЦИНТ УЗНАЕТ, КАКИМ ОБРАЗОМ РОТОЗЕЯМ ВНУШАЮТ УВАЖЕНИЕ К НАЧАЛЬСТВУ.

Окончательно убедившись в своём превращении, Гиацинт посмотрелся в зеркало и без труда помирился с своею новою наружностью. Он был прелестный пудель. Его белая, курчавая голова, чёрные глаза и вздёрнутый нос придавали ему вид напудренного маркиза. Он самоуверенно прошёл две пустые комнаты. В передней он увидал всех своих собак, валявшихся на персидском ковре: их служба состояла в том, чтобы ничего не делать; они с полным усердием исполняли свои обязанности.

Увидев незнакомца, полусонный борзой кобель встал, подошёл к нему и обнюхал его от головы до хвоста и от хвоста до головы с неприличною фамильярностью. Гиацинт, не желая терпеть непочтительное

обращение, ошетинился и зарычал. Тотчас же вся стая поднялась на ноги и бросилась на него с лаем. Угрюмый бульдог заревел на своём собачьем наречии: «У этого молодца нет ошейника. Это проходимец. Ату его!» И в ту же минуту он так больно укусил незнакомца, что Гиацинт мгновенно выскочил за окошко, как будто его выбросила какая-нибудь пружина.

К счастью для династии Тюльпанов, окно было невысоко. Гиацинт не ушибся.

«Эти глупые животные, – подумал он, – меня не узнали; если я когда-нибудь снова приму человеческий образ, я с большим удовольствием велю перебить всю эту сволочь».

Гиацинт, выскочив из окна, очутился в дворцовом саду, открытом для публики, и, пользуясь своим инкогнито, вмешался в толпу, чтобы изучить поближе нравы своего доброго народа.



Аллеи были наполнены разряженными дамами; было несметное множество кормилиц, нянек и детей. Гиацинта особенно сильно поразил превосходный характер солдат. Кавалеристы и пехотинцы наперебыв друг перед другом забавляли детей и качали их у себя на коленях. Суровые усахи играли в обруч или носили кукол. Гиацинт спокойно уселся в саду и залюбовался на двоих сапёров, круживших большую верёвку, через которую прыгали маленькие девочки и их няньки.

Вдруг грубый голос сказал возле него: «Постой, голубчик; я тебя научу исполнять правила».

Гиацинта удивило то, что правила могут нарушаться в его дворцовом саду. Он оглянулся, отыскивая глазами дерзкого нарушителя, и в эту самую минуту жестокий удар по голове отбросил его шагов на десять в сторону. Он приподнялся и залаял; на него кинулся смотритель в мундире с

криком: «Убить, убить его. Он делает дерзости начальству».

При всей своей храбрости Гиацинт не мог бороться со своим врагом; он побежал на трёх лапах; его палач за ним. Кормилицы смеялись, дети и солдаты кидали в него камнями. Смотреть на мучения бедного животного – это для Ротозеев настоящий праздник. К счастью, решётка была недалеко, и Гиацинту удалось благополучно проскользнуть мимо будки, в калитку.

Разъярённый смотритель накинулся на часового.

- Вы выпустили собаку? – сказал он.
- Да, – сухо ответил солдат.
- Зачем вы её не ударили штыком?
- Мне это не было приказано.
- Запрещено впускать собак, если они не на привязи.



– Запрещено впускать, а я выпустил.

– А, ты рассуждаешь! – закричал смотритель. – Как тебя зовут?

– Вы, господин Лелу, знаете, – ответил, солдат, – что зовут меня Нарциссом.

– Нарцисс, красавец Нарцисс, возлюбленный Жирофле.

– Мадемуазель Жирофле меня не любит. Вы это знаете лучше всякого другого; ведь вы же хотите на ней жениться.

– Ну, голубчик, – сказал смотритель, – так я же не упущу случая задать тебе урок. Эй, сержант! – крикнул он старому усачу. – Посадить этого рядового на четыре дня под арест. Он рассуждает.

После ухода смотрителя сержант подошёл, к молодому солдату и посмотрел на него отеческим взором.

– Ты это напрасно сделал, сын мой, – сказал он, – ты себе службу портишь.

– Разве ж это дурно рассуждать? – нетерпеливо спросил Нарцисс.

– Более чем дурно, сын мой; это – проступок.

– Почему, дядя Лафлёр?

– Почему, – сказал сержант, – ты у меня спрашиваешь почему? Понять, кажется, не трудно, это бросается в глаза, Старшие положили, что рассуждать не следует, потому что, если станут рассуждать, тогда кто прав – тот и будет старшим. А тогда, значит, старшие не будут всегда правы. Теперь понимаешь?

– Понимаю я то, – сказал Нарцисс, вздыхая, – что послезавтра мы уходим на новую стоянку, и что, если я буду на гауптвахте, то я не прощусь с мадемуазель Жирофле.

– Насчёт этого примут свои меры, сын мой, – сказал Лафлёр, покручивая усы, – Ещё не такие мы старики, чтобы не уважать законного чувства. Вот идёт капрал

сменять тебя. Молчи и полагайся на мою чувствительность.

Во время их разговора Гиацинт, лёжа на земле с зашибленной спиной, предавался довольно печальным размышлениям о регламентах и повиновении. Умом его начали овладевать сомнения. Ему уже представлялся вопрос, не лучше ли будет, если законы будут изготавливаться теми людьми, к которым они прилагаются. Но образ белокурой Тамарисы пришёл ему на память: он тотчас прогнал свои мятежные помыслы. Возможное ли дело, чтобы отец такой красавицы не был великим министром? Кроме того, могла ли бедная собака, грешившая по меньшей мере неведением, судить об административных соображениях и политических замыслах графа Туш-а-Ту?

VIII. В ЧИЖОВКЕ.

Да здравствует философия! Тремя звонкими словами, нанизанными на прекрасную теорию, она возносит душу выше мелких страданий действительности! Гиацинт вышел из своего убежища, хромя на одну лапу и грязный до ушей, но исполненный уважения к поразившему его, закону. Важным и спокойным шагом, как: собака, уважающая своё достоинство, он вошёл в большую улицу, шедшую возле дворца, и стал смотреть по сторонам, чтобы ближе изучать тот народ, над которым он призван был господствовать.

Впереди и позади его тянулся необозримо-длинный двойной ряд великолепных, домов. Все дома были похожи один на другой: та же вышина, та же крыша, те же этажи, то же число окон, те же решётки, те же балконы, те же двери; различны были только номера. Можно было подумать, что это один дворец, или монастырь, или гос-

питаль, или казарма растянулись вёрст на пять в длину: однообразие царило во всём своём великолепии.

Улица была так же восхитительна, как и дома. По широким тротуарам двигалась ровными шагами сплошная толпа. Городовые, расставленные на мостовой, заботились о том, чтобы каждый держался вправо и шёл в ногу в своём ряду. Через улицу позволялось переходить только тем, кто возвращался домой или сворачивал в боковую улицу, да и в этом случае надо было обращаться к начальству, которое, со шпагою на боку, присматривало за шествием граждан и предлагало руку дамам. Зрелище было величественное. Было заметно, что невидимый глаз следит за каждым Ротозе-ем во время самых невинных его развлечений и поддерживает то равенство, которым славится великая нация. Все мужчины были украшены знаками отличия; точно будто они обокрали радугу и поделили между собою её цвета. Женщины также были все



покрыты лентами; у всех были огромные шиньоны красных волос, украшенные розовыми, голубыми или белыми пакетиками; издали это были точно цветочные венки, небрежно брошенные на копны сена. Изящество было несравненное!

Гиацинт примкнул к рядам и скромно пошёл возле толстого мещанина, читавшего наставления своим сыновьям. «Ни под каким видом, – говорил он им, – не будьте своенравны, не рассуждайте, не думайте своим умом. Наше общество так хорошо устроено, что всякий дерзкий, выходящий из рядов и нарушающий приказания, тотчас оплёвывается, изгоняется и уничтожается. Смотрите на меня, дети мои, я всегда повторял, что говорили все, я всегда делал, что делали все; у меня никогда не было ни собственной мысли, ни собственной воли; вот я и дошёл до всего беспрепятственно: всякий протягивал мне руку. Я богат, меня уважают, мне кланяются, и, кабы я захотел, я мог бы сделаться важным ли-

цом. Но я ненавижу политику; по-моему, нет ничего глупее, как заниматься общественными делами, когда есть правительство, получающее жалованье для того, чтобы избавлять нас от этой скучной заботы. Я – настоящий Ротозей, и горжусь этим. Да здравствуют деньги и наслаждения! В них всё!

Гиацинт с уважением слушал мудрого старца, когда вдруг открыли фонтаны. Чистая вода потекла по канавам. С утра бедный пудель изнемогал от жажды; он подумал, что не посягая на существующий порядок и не нарушая установленных правил, он может попользоваться этою водою, которая, по-видимому, текла для всех. Скользнув с тротуара, он погрузил свою морду в свежие струи, и потом, уступая естественному влечению, стал купаться. Трепет неиспытанного удовольствия пробежал по его избитому телу, и он, оставаясь по-прежнему скромною собакою, почувствовал сладость бытия.

Выйдя из воды, Гиацинт, уважавший приличия, стал посреди улицы, чтобы никого не забрызгать, и стал отряхивать свою мокрую шерсть. Сладострастная дрожь щекотала ему тело, когда грубая рука ухватила его за шею и подняла на воздух, так что все четыре лапы его заболтались в пространстве.

– Унтер-офицер, – закричал палач, бросая пуделя на руки к городовому, – вот ещё собака без ошейника и без намордника. В нынешнем месяце это уже вторая. За третью я вас отрешу от должности.

– Бродяга, – сказал унтер-офицер и при этом чуть не задушил своего пленника, – ты умрёшь от моей руки. Я тебя выучу грубить начальству.

К счастью для Гиацинта, крытый фургон проезжал по улице; городской окликнул возницу.

– Эй, Пьеро! – крикнул он. – Возьми ты этого мерзавца, пусть он у тебя пропляшет птичью сарабанду.

– Будьте покойны, господин унтер-офицер, – смеясь, ответил извозчик, – у меня их тут штук двадцать; всех перевешаем.

Гиацинта бросили в тёмную повозку, и он упал на кучу собак, наваленных одна на другую; слышался лай; поднялась грызня; затем Гиацинт пробрался в уголок и стал раздумывать на досуге о превосходной полиции графа Туш-а-Ту.

Эти размышления продолжались недолго; повозка остановилась: отворили дверцу, и Гиацинт очутился в обширном дворе, среди нескольких десятков собак, которые, подобно ему, были лишены свободы.



Общество было смешанное: были там собаки всякой масти и всякого роста, от тонконового изящного гавана до приземистого сварливого бульдога. Образовались группы; Гиацинт, по естественному инстинкту, приблизился к местной аристократии и услышал разговор, напомнивший ему придворные рауты.

– Я не понимаю, как осмелились меня арестовать, – говорила красивая болонка с умными глазами, – я вышла из дому с табакеркой моего хозяина-капитана за табаком, как хожу всегда. Как это не заметили, что я военная собака? Любопытно узнать, потерпит ли армия это оскорбление?

– Я с своей стороны, – сказала левретка в пальто, – очень довольна тем, что со мною случилось. Этим болванам нужен урок. Им скоро покажут, кто я такая.

– Вы чья же? – спросил большой водолаз.

– Мой любезный, ваш вопрос невежлив, – ответила востроносая барышня, – Я ничья; и если бы вы были грамотны, вы прочитали, бы на моём ошейнике: Я – Мирза, Жонкиль мне принадлежит. У меня есть горничная, и она каждый день часа по два моет меня мылом, у меня есть лакей, и вся его служба в том, чтобы водить меня гулять, Ах! – вскрикнула она, поднимая лапу и как бы делая стойку. – Что это за скверный пудель и как он смеет к нам подходить! Фи! Гадость, собака какого-нибудь слепого нищего! Я ненавижу народ. От него дурно пахнет.

Водолаз, как услужливый кавалер, бросился к Гиацинту и так выразительно посмотрел на него, что принудил его удалиться.

В эту минуту отворилась дверь. Вошёл смотритель вслед за господином в зелёном сюртуке, с розеткою из разноцветных лент в петлице. Завороченные обшлага и белые манжеты намекали на то, что он медик.

– Вот нынешний улов, господин доктор, – сказал тюремщик, – Хотите этого водолаза?

– Нет, любезный мой Ла-Дусер, – ответил доктор. – Мы намеревались вскрыть одного водолаза. Он три раза укусил нас, прежде чем решился издохнуть. Ну их совсем, этих скотов, что защищаются, Никакого; нет удовольствия потрошить их.

– Может, вам пригодится этот пудель?

– Нет, не надо мне пуделей. Мои студенты пустятся в сентиментальность. Не хочу плебейской собаки. Дайте-ка сюда эту болонку.

Смотритель взял со стены сетку и накинул её на болонку, которая не оказала ни малейшего сопротивления.

– Славная собачка, – сказал доктор, ощупывая болонку, – и хорошо содержится. Я её возьму. Мы деликатнейшим манером введём в её желудок металлическую коро-

бочку и посредством этого остроумного приёма изучим основательно процесс пищеварения.

– А закон, покровительствующий животным? – смеясь, заметил Ла-Дусер, – мне кажется, вы, господин доктор, обходитесь с ним чересчур бесцеремонно.

– Закон не для нас писан, – ответил доктор. – Мы не люди, мы – наука.

– Это что? – спросил тюремщик, снимая ошейник с собаки. – Видите, тут на медной бляхе вырезано пять букв: Я. П. В. Г. П. и две окрещённые сабли; я чую заговор.

– У вас тонкое обоняние, – сказал доктор.

– Милостивый государь, я служил десять лет у барона Плёрара; я научился на всё смотреть недоверчиво, всего бояться; это верное средство не остаться в дураках. Кроме того, если я открою заговор, моя карьера устроена: меня сделают тюремщи-

ком в настоящей тюрьме, Грустно сторожить собак, когда чувствуешь себя способным караулить людей.

– Вы честолюбивы.

– Разумеется, во мне кипят благородные стремления; я хочу, подобно многим другим, проложить себе дорогу, спасая короля и отечество. Я. П. В. Г. П. ведь это значит, очевидно: "Я презираю ваше глупое правительство". А перекрещённые сабли – это символ, это условный знак.

Дверь быстро распахнулась; вошёл офицер с длинными усами, с хлыстом в руке, шляпа набекрень, вид разъярённый.

– Кастор здесь? – закричал он, – Черти вас дери! Подавайте его сюда.

Услышав этот голос, болонка вырвалась из рук доктора и кинулась на своего хозяина, как будто хотела его съесть.

– Тише ты, глупый, тише, голубчик, – сказал офицер растроганным голосом, – Постой, Кастор, мне надо тут свести свои счёты. Кто себе позволил арестовать офицерскую собаку?

– Милостивый государь, закон существует для всех граждан, – сказал честный Ладусер.

– Молчать, грубиян! – сказал капитан.

– Вы должны знать, что солдаты не граждане. Я сию минуту пойду к моему двоюродному брату, главнокомандующему, и выгоню вас в отставку.

– Но сначала я представлю в суд этот подозрительный ошейник, – ответил тюремщик, побагровев от досады.

– Осёл! Дайте сюда ошейник! – крикнул офицер.

– Милостивый государь, – сказал доктор, чувствуя необходимость произвести дивер-

сию, – будьте так добры, объясните нам, что значат эти пять букв: Я. П. В. Г. П. и эти скрещённые сабли?

– С удовольствием, милостивый государь; это начальные буквы моего имени и эмблема моего звания; Явор-Пустоцвет, Виконт Гордой Посредственности, капитан кирасирского полка, к вашим услугам.

– Господин виконт, – сказал Ла-Дусер, понутив голову, – почтительнейше прошу вас извинить меня и принять уверение, что, по моему докладу администрация строго накажет того, кто позволил себе арестовать собаку капитана.

После ухода офицера тюремщик вздохнул.

– Вы видите, господин доктор, легко ли мне на моём месте. Во сто раз приятнее было бы мне быть министром. Посадят в тюрьму человек пятьдесят граждан, неизвестно за что, все молчат, никто не заявляет претензии; а тут из-за несчастной со-

баки, арестованной на законном основании мне приходится выслушивать дерзости и угрозы, О, управлять людьми гораздо легче, чем собаками.

В ту минуту, когда Ла-Дусер заканчивал свою жалобу, его грубо ударили по плечу. Раздражённый такою фамильярностью, он обернулся и тотчас стал улыбаться самую любезною улыбкою. Перед ним стоял огромный лакей в королевской ливрее, красной с золотом.

– Милейший, – сказал лакей покровительственным тоном, – нет ли у вас тут серой левретки в бархатном пальто?

– Милостивый государь, – сказал тюремщик, кланяясь, – она только что сюда явилась.

– То есть как это только что? – спросил надменный лакей.

– Всего минут десять тому назад, милостивый государь.

– Минут десять! – повторил человек красный с золотом. – По какому же это случаю левретка пять минут тому назад не доставлена в министерство?

– В министерство! – закричал Ла-Дусер, сгибаясь в три погибели. – Но, милостивый государь, я ещё не успел осмотреть последний привоз.

– Надо было успеть, – сказал лакей, подзывая к себе левретку. – Вы, кажется, смешиваете это благородное животное со всею вашею сволочью; вы читать, что ли, не умеете? Не видите, что тут написано на ошейнике!

– Извините, – сказал тюремщик в крайнем смущении, – тут написано: Я – Мирза, Жонкиль мне принадлежит. А что же это такое Жонкиль, милостивый государь?

– А! вы не знаете мадемуазель Жонкиль, первую горничную виконтессы Тамарисы, дочери его сиятельства, графа Туш-а-Ту! А! вы арестуете левретку горничной доче-

ри первого министра и не приводите её немедленно в министерство! Хорошо, голубчик, вам дадут свободное время, чтоб вы могли поучиться истории и географии!

– Но, милостивый государь, арестование совершилось законным порядком. Я только исполнил закон.

– Закон? – сказал лакей презрительным тоном. – Вы думаете, закон писан для собак правительства? Сегодня вечером вас выучат уважать администрацию. Это вам будет нелишнее.

Взяв левретку на руки, красный лакей удалился величественною поступью.

– Дерзкий негодяй! – сказал доктор. – Я бы с удовольствием вскрыл ему череп. Хотелось бы мне посмотреть, как у него там в голове ветер ходит.

– Ах, милостивый государь, он говорил чистую правду, – застонал Ла-Дусер. – Ваше посещение меня погубило. Не будь вас,

я вышел бы в люди. Я бы узнал это благородное животное, отнёс бы его к мадемуазель де-Жонкиль; мадемуазель де-Жонкиль держит в руках свою очаровательную барышню, барышня держит в руках отца, а отец держит в руках всё... На меня посыпались бы милости. А теперь меня погубили моё невежество и моя глупость.

– Нет, – сказал доктор, – я немножко знаком с этою Жонкиль; я её лечил; я улажу ваше дело. С вашими солидными качествами, любезный мой Ла-Дусер, человек рано или поздно непременно составит себе карьеру в администрации. Через несколько лет вы будете оказывать мне покровительство. Покуда пришлите мне сегодня вечером этого милого пуделя в мою лабораторию при судебной палате. Он мне нравится; у него такое невинное и кроткое выражение; я не хочу, чтобы его повесили, как бродягу. У нас разбирается прелюбопытный случай, и я приглашён в качестве эксперта; дело идёт об одной женщине: одни

говорят, что её задушили, другие – что отравили. Завтра мы узнаем всю подноготную; я сначала отравлю это доброе животное, а потом задушу его. Опыт будет в высшей степени интересный.

– И вы не забудете замолвить за меня словечко у мадемуазель де-Жонкиль, – сказал тюремщик, вздыхая. – У меня, право, господин доктор, совсем голова кругом идёт. Если закон не прилагается ни к науке, ни к армии, ни к горничным, ни к лакеям, ни к собакам правительства, то к кому же он прилагается?

– А к тому, кто по простоте своей попадает, – сказал доктор, смеясь над озадаченным тюремщиком.

IX. ПОЯВЛЕНИЕ АРЛЕКИНА.

Пробыть два дня королём, чувствовать себя молодым, красивым, любимым и вдруг, по капризу судьбы, сделаться собакою и видеть впереди отравление и удушье на алтаре судебной медицины – это удар слишком тяжёлый для шестнадцатилетнего сердца. Гиацинт прилёг в углу двора и протяжным стоном выразил своё горе и свою бессильную ярость. При этом звуке грязный овчар, лежавший на земле, открыл глаза, поднял голову и косо посмотрел на Гиацинта.

– Право, – зарычал он, – подумаешь, что тут только вашу милость и повесят. Не мешайте спать.

– Не сердись, товарищ, – сказал старый бульдог, – видишь, это ребёнок плачет... Иди сюда, крошка, я хочу поговорить с тобою.



Гиацинт посмотрел на говорившего. То был огромный бульдог. Глаза, налитые кровью, обрубленные уши, широкая чёрная морда, толстый приплюснутый нос, губы, покрытые пеною, – по всем признакам неважный барин; но в его грубом голосе было столько доброты, что принц-пудель доверчиво подошёл к своему новому другу и прилёг возле него.

– Юноша, – сказал старый бульдог, – ты такой чистенький и подстриженный. У тебя, должно быть, есть хозяйка, какая-нибудь старая маркиза, какая-нибудь разбогатевшая мещанка. Отчего это за тобою никто не присылает?

– Нет у меня хозяина, – гордо ответил Гиацинт. – Я никогда никому не отдамся в кабалу. За то меня и убьют эти низкие палачи.

– Bravo, дитя моё, – ответил бульдог. – Люблю, когда молодые собаки презирают ошейник. Счастье твоё, что ты встретился с

Арлекином: старый Арлекин никогда не покидает своих друзей. Не совсем ещё нас с тобою скрутили. Видишь, вон колода; ты пролезь за неё, там начата яма; ты работай поосторожней и надейся на меня.

Гиацинт подполз под колоду и увидел перед собою деревянную изгородь, под которой уже вырыта была яма. Лапами и рылом он стал выкидывать землю с таким усердием, что скоро довёл свой подкоп до самого основания забора и увидел свет, проходивший снаружи. Но силы его истощались, и его окровавленные лапы отказывались служить ему.

– Живо! – сказал Арлекин, показывая вдруг свою курносую морду. – В сенях слышны голоса. Время не терпит.

Он лёг на брюхо, прополз в яму и поглядел в щели растрескавшейся доски.

– Победа! – сказал он. – Работа кончена, на той стороне земли нет.

Он ударил головою, как тараном, в самую гнилую доску и, тряхнувши шеей и плечами, проломил её без труда.

– За мной, малютка, – сказал он товарищу, – да не шуми.

Если Гиацинт надеялся спастись, то заблуждение его оказалось непродолжительным. Друзья очутились во дворе, окружённом со всех сторон высокими стенами. Мёртвые собаки на виселицах, с высунутыми языками, ободранные трупы, кучи свежих шкур, ручьи кровавой грязи – зрелище было неутешительное. Арлекин им не смутился. Весь поглощённый мыслями о бегстве, старый бродяга пробирался вдоль стен, высматривая, нельзя ли будет как-нибудь изловчиться или воспользоваться счастливою случайностью, чтобы выбраться на свободу.

Добравшись до полуотворённой двери, он остановился и посмотрел на Гиацинта, шедшего по его следам. Повернувшись к

ним спиною, сидел за этою дверью Ла-Дусер; он курил трубку и читал газету. Он сидел возле стеклянной двери, отворявшейся на улицу. Тюремщик своею толстою особою плотно загораживал проход. Пленникам не было спасения.

– Делай по-моему, – шепнул бульдог на ухо пуделю. И, притаившись в тени, он пополз на брюхе и без шума подкрался к тюремщику.

Ла-Дусер читал «Официальную истину», придворную газету. Он дошёл до следующего параграфа, который интересовал его особенно сильно:

"В числе 1.352,000 прошений, представленных его величеству в день его восшествия на престол, замечательно прошение под № 125,727. Оно составлено обществом покровительства животным. Эти чувствительные души, ежедневно возмущаемые теми жестокостями, которые обрушиваются

на животных, просят правительство, чтобы бродячих собак, арестуемых (арестовываемых, задержанных) ежедневно, на будущее время не вешали, и чтобы этому варварству был положен конец. Общество полагает, что их можно было бы лишать жизни, доставляя им безболезненную и даже приятную смерть, посредством хлороформа или синильной кислоты, и соглашая таким образом требования справедливости с голосом человечности."

– Чёрт их дери, этих филантропов! – сказал тюремщик, комкая газету, – Вечно они ищут вшей на головах у бедных людей. Дали б им поскорее крест, и пускай бы они нас в покое оставили! Прошу покорно, разве же не справедливо душить теперешних собак так точно, как душили их отцов и дедов? Бедные твари! Кабы справились с их вкусами, я уверен, что они предпочли бы верёвку всем этим аптекарским хитростям. К верёвке они уж так давно привыкли.

В ту минуту, когда он произносил эти слова, огромная масса упала ему на шею и выбросила его на улицу головой вперёд. Разъярённый до крайности, он приподнялся и увидел вдали двух собак, бежавших прочь во весь опор. Он хотел кинуться за ними, но в эту минуту вся армия пленных собак, заметив дорогу к свободе, пронеслась через открытое окно. Напрасно добрый Ла-Дусер звал на помощь; лай покрывал его крики; все усилия остались бесполезными, В этот день, по вине Арлекина, палачу не было работы и, как заметила официозная газета, на статую Закона пришлось набросить покрывало.

Х. СОБАЧЬЯ ФИЛОСОФИЯ.

Арлекин бежал как старый волк, поджимая хвост, а Гиацинт напрягал все свои силы, чтобы не отстать от товарища. Они бежали по тёмным переулкам, по узким улицам, по пустым задворкам; наконец бульдог остановился, высунув язык, и начал отдуваться.

– Малютка, – сказал он товарищу, – отдохни. Мы теперь дома.

Они вошли во двор фермы, обстроенный с обеих сторон запущенными стойлами и сараями. Перед ними возвышались огромные кучи навоза и мусора, среди которых виднелись грядки лука, моркови, салата и дынь. Всё это было совершенно непохоже на свежие зелёные клумбы дворцового сада.

Бульдог забил лапы и нос в кучу грязи и вытащил оттуда несколько костей, на которых ещё торчали клочья кровавого мяса,

Затем, прыгнув на навозную кучу, он начал убирать за обе скулы отрытую добычу. Гиацинт в это время подошёл к фонтану и стал обмывать свои ободранные лапы и воспалённую морду.

– Ну ты, привередник, – заворчал старый Арлекин, – когда перестанешь полоскаться там, как утка, приходи со мной ужинать.

Гиацинт взобрался на кучу и не без удовольствия растянулся на этом простом деревянном ложе.

Он взял кончиками зубов кость, переданную товарищем; но он был так утомлён и эта новая кухня была ему так непривычна, что он совсем не мог есть.

– Здесь твой хозяин живёт? – спросил он у бульдога.

– Милое дитя моё, у меня хозяина нет, и никакого мне хозяина не нужно. Года два-три тому назад я вошёл сюда случайно; меня никто не тронул; на вторую ночь я

отплатил за гостеприимство – оборвал ноги любопытным людям, перескочившим через стену посмотреть вблизи, не поспел ли салат. С тех пор со мною обращаются, как с другом дома. Ночью я прогуливаюсь тут по огороду, днём бегаю в город или сплю на своей навозной куче; никто обо мне не тревожится, и я ни о ком не тревожусь. В мои лета больше ничего и не требуется.

– Ты, значит, не всегда так жил? – спросил Гиацинт.

– О, нет, дитя моё; я был молод и, подобно всем существам моей породы, любил людей; но негодяи давно вылечили меня от этого безумия.

– Они тебя колотили, хотели убить тебя?

– Кабы одно это, – сказал Арлекин, – я бы их до сих пор любил. Палочные удары не страшны собачьему сердцу; человек зол, это его природа, с этим я бы помирился. Но не могу я ему простить того, что он

неблагодарен и вероломен. Выслушай мою историю, и пускай она пойдёт тебе впрок.

Прежде всего припоминается мне прекрасная молодая девушка, моя воспитательница. Я ещё теперь вижу её, как она брала меня на руки, целовала меня, крошила мне хлеб в чашку с молоком. И как же я её любил! Бывало, чуть завиджу милую девушку, сейчас прыгать, лаять! Мне так приятно было забавлять её. Её удовольствие было моею жизнью. Наша взаимная нежность продолжалась полгода; вдруг, в одно прекрасное утро, моя повелительница заметила, что я сильно расту и толстею; в тот же день она продала меня за два талера соседке-мясничихе. Меня променяли на кинг-чарльса.

Новая моя госпожа была молодая вдова; муж не оставил ей ничего, кроме мясной лавки. Ей приходилось работать без устали, и меня она выбрала себе в компаньоны по работе. Каждое утро она запрягала меня в тележку, и мы с нею бегали по городу,

собирали заказы, развозили говядину. Работа была тяжёлая, только я не жаловался и важно поднимал голову, когда возил свой груз, Я привязался к бедной женщине, я гордился тою мыслью, что, по моей милости, её дела с каждым днём поправляются: я это чувствовал по тяжести тележки. Один был порок у моей мясничихи: очень у неё рука была прытка; всё, бывало, кнутом поддерживает моё усердие и награждает за старательность. Я, впрочем, за это не сердился; глуп бываешь, когда любишь. Но раз утром, сводя счёты, барыня моя заметила, что у неё хватит денег завести себе лошадь и мужа, чтоб они вместо неё мыкались по городу. Меня сейчас в отставку: больше не нужен. Я всю силу свою погубил на службе у моей госпожи. Она ж меня сама и за дверь вышвырнула; я воротился, стал нежно визжать, она встретила меня палкой и так меня обработала, что соседи закидали меня камнями, стараясь мне внушить, что в благоустроенном городе

никто не имеет права выть, когда его колотят.

Испытание должно было бы меня исправить; но я был глуп: жить не мог без привязанности; через несколько дней я уже носил хлеб одной булочнице; она меня кормила плохо, а била часто; но у неё был ребёнок – тот играл со мною: с меня было довольно; я забывал свои огорчения. Работал я на своих новых господ года два; вдруг карета наехала на наш скромный экипаж и опрокинула его. Мне переломили лапу, и я воротился домой на трёх ногах. Недолго я оставался дома; лечение моё могло затянуться и стоить денег, а булочница была женщина расчётливая, любила беречь про себя свои деньги и своё сострадание; в тот же вечер она стала меня гладить рукой и в то же время набросала мне в тарелку каких-то преаппетитных катышек. Подбежала курица, клюнула катышку; перья у неё растопырились, она закрыла глаза и тут же околела. Это заста-

вило меня задуматься; в ту же ночь я ушёл из этого неблагодарного дома и решил, что никого больше не буду любить. Первая продала, вторая избила, третья хотела отравить – урок был вразумителен; я простился с людьми и сделался волком, чтобы избегать и презирать их.

– Ты был несчастлив, – сказал Гиацинт, – несчастье мешает быть справедливым. Не все же женщины такие злодейки, как твои изменницы.

– Ошибаешься, дитя, – ответил Арлекин. – В этом жалком отродье не из чего выбирать. Самки и самцы, дети и взрослые, все изменники, все мерзавцы. Прежде всего заметь, что каждое из этих двуногих животных краснеет за себя и всеми средствами старается скрыть убожество и безобразие своего тела. Мы, собаки, сильные, гибкие, красивые, изящные, мы всем показываемся в том виде, как нас создала природа. С самого своего рождения человек уродлив, гол, бессилен. Ему необходимы

чужая кожа и посторонняя помощь. Что бы с ним случилось, кабы он на наш счёт не одевался и не согревался? Вот на гулянии любят женщины, ты, может быть, бежишь за нею следом, но ты подумал ли, во что нам обходится её красота? Ты высчитал ли, сколько человек зарезывает (режет) животных, своих братьев, чтобы составить полный убор этой себялюбивой самки? Перья, мех, муфта, перчатки, обувь, экипаж – всё добыто убийством, всё, даже и те помады, которыми она, утром и вечером, маслит себе лапы и морду. Чистейшие составные части нашей крови доставляют свежесть её коже. Ах! кабы звери могли сговориться, они давно истребили бы это жестокое и коварное племя, которое живёт исключительно изменой и кровопролитием.

– Волки поступают точно так же, – сказал Гиацинт.

– Твоя правда, сын мой, – сказал Арлекин, – и кабы люди воевали только с другими животными, я бы, может быть, имел

слабость их извинить, Я бы подумал, что природа сотворила их плотоядными и что они не могут сопротивляться свирепости своего инстинкта. Но им этого мало, что они отнимают жизнь у нас; для полноты блаженства им ещё необходимо убивать друг друга. Волки не едят волков, но для человека величайшее удовольствие напасть врасплох на своего ближнего и зарезать его. Четыреста тысяч Ротозеев, цвет юношества, упражняются каждое утро в искусстве истреблять соседей и друзей, Остолопов; шестьсот тысяч Остолопов, надежда будущего, проводят прекраснейшие годы своей жизни, с трудом изучая удобнейшие средства отправлять на тот свет всех своих друзей и соседей, Ротозеев. Земля – сад, предлагающий свои плоды, люди превратили её в бойню. Где они проходят, там остаётся кровавый след. Если бы ещё победитель съедал того, кого он режет, я бы понимал его жестокость; охотник живёт своею дичью. Да не тут-то было!

Они режутся без надобности, из удовольствия, чтобы надышаться ароматом бойни. Чуть произошла драка между двумя армиями, начальники уже протягивают друг другу руки, прежде чем успеют похоронить трупы. С обеих сторон обмениваются поздравлениями, обнимаются, звонят в колокола, стреляют из пушек, все радуются и ликуют и забывают только мертвецов да тех, кто над ними остался плакать.

– Но, – сказал Гиацинт, – если люди так злы, народ к народу, то каким же образом они могут жить в одной стране, не убивая друг друга?

– Я знаю только Ротозеев, – ответил Арлекин, – и тут не трудно увидеть, какими средствами между ними поддерживают мир. Тут две отдельные расы, победители и побеждённые, завоеватели и рабы.

– Кто тебе это сказал? – спросил Гиацинт.

– Собственными глазами видел. Ты разве не заметил, что у Ротозеев одни носят рогатые шляпы, а другие круглые. У первых шпага на боку, мундир и ордена; у вторых фраки, сюртуки или пальто; первые держат голову высоко, говорят громко, приказывают – это господа; другие опускают голову, говорят тихо и повинуются – это рабы. Побеждённые работают для всех, а победители поддерживают порядок.

Гиацинт посмотрел на товарища; такое невежество изумило его, даже со стороны собаки; он счёл удобным вступить в борьбу с ложными идеями Арлекина.

– Любезный товарищ, – сказал он, – тут, мне кажется, нет ни побеждённых, ни победителей, ни рабов, ни завоевателей. Люди, как я слышал, повинуются особому правилу, тому, что они называют законом, и во всякой стране есть чиновники, чтобы поддерживать господство этого закона.

– Коли это правда, дитя моё, значит, люди ещё более злы, чем я думал. Как! Половине нации надо постоянно носить оружие, чтобы другая половина вела себя честно? Разве у нас, у собак, есть чиновники, рогатые шляпы, шпаги? И однако же мы живём мирно; величайшие наши ссоры кончаются тем, что только покусаемся. Так точно поступают быки, бараны, даже волки и лисы. Из всех животных только одного человека надо водить в наморднике и бить, чтобы он не съел своего же брата. О, поганое племя, рождённое на погибель миру, проклиная тебя!

– Знаешь, – сказал Гиацинт, – слушая тебя, я начинаю ненавидеть род человеческий.

– Коли ты так думаешь, бедное дитя, ты не знаешь твоей слабости. Тобою овладеет первая женщина, которая тебя приласкает, первый мужчина, который тебе польстит. Ты так же точно поддашься на обман, как поддался я. Наш брат, бедная собака, ро-

дится на свет с потребностью любить, которая нас губит. Житейский опыт вырывает у нас нашу последнюю надежду только тогда, когда нашему сердцу нанесены десятки кровавых ран, и тогда...

– Что же тогда? – спросил Гиацинт. – Тогда надо молчать, забиться в угол и око-
леть.

С этими словами старый Арлекин положил морду на вытянутые лапы и замолчал.

Гиацинт печально посмотрел на луну, поднимавшуюся на горизонте, но он не долго предавался своим мрачным размышлениям; его утомлённые глаза закрылись и, свернувшись в клубок, он захрапел рядом с товарищем.

XI.

На другой день, проснувшись довольно поздно, Гиацинт видит в окне одной лачужки красивое лицо молодой девушки. Скворец в клетке за окном называет эту девушку Жирофле, и Гиацинт догадывается, что видит перед собою возлюбленную молодого солдата Нарцисса. Жирофле видит пуделя; он ей нравится, и она прима-
нивает его к себе, вводит его к себе в комнату, начинает его ласкать и разговаривает о Нарциссе.

Приходит её отец, кузнец Лапуэнт, и начинает жаловаться на дороговизну, на тяжёлые времена и на распоряжения правительства, которое забирает в солдаты молодых работников и потом берёт у граждан деньги, чтобы кормить эту молодёжь, оторванную от работы. Старый Лапуэнт особенно досадует на то, что у него отняли Нарцисса, его ученика и помощника.



Гиацнта кузнец пристраивает к работе: он заставляет его, как белку, бегать в колесе и приводить таким образом раздувательные мехи. Гиацнт, работая до изнеможения, припоминает слова Арлекина и начинает раскаиваться в том, что поддался ласкам молодой красавицы.

Вечером, за ужином, старик заговаривает с дочерью о том, что служитель дворцового сада, г. Лелу, просит её руки и обещает доставить своему будущему тестю выгодное место.

Жирофле говорит, что никогда не примет предложения г. Лелу. Старик сжимает кулаки, подходит к дочери, но не осмеливается её тронуть и вымещает свою досаду на пуделе, попавшемся ему на глаза.

В это время Нарцисс приходит проститься с Жирофле. Прощание в присутствии раздражённого отца выходит натянутое и печальное.

После ухода Нарцисса Гиацинта опять на несколько часов сажают в колесо. Потом Гиацинт засыпает, видит во сне все разнообразные сцены, пережитые им в течение последних дней, и просыпается, к величайшему своему удовольствию, у себя во дворце, на постели, под шёлковым балдахинном. Королева-мать сидит у его изголовья.

XII. О ПОЛИТИЧЕСКОМ ВЛИЯНИИ СОБАК У РОТОЗЕЕВ.

– О, маменька, – вскрикнул Гиацинт, – какой я сон видел!

– Молчи, дитя моё, – сказала королева. – Не говори об этом, тут идёт дело о твоей жизни и моей. Могу тебе сказать только то, что я одна входила в твою комнату, и что если тут есть какая-нибудь тайна, то она останется между нами. Народ узнает только то, что ему скажем. Вот Официальная истина. Она известила, что эти два дня ты был болен.

– Маменька, – сказал Гиацинт, пробежав высокопарное известие газеты, – неужели вы это написали?

– Сын мой, кавалер Пиборнь, наш главный редактор, узнав о твоей болезни, напечатал эти строки в Официальной истине.

– Да ведь это ложь!

– Мой сын! – сказала королева, улыбаясь, – Не употребляй никогда этого дурного слова, В политике нет ни лжи, ни истины; всё условно, как в комедии. Ротозеи не требуют, чтобы им говорили правду; они её боятся; они хотят, чтобы их тешили. Им подают блюда по их вкусу. Эта маленькая статейка приведёт их в восторг; вреда она никому не сделает. Что может быть невиннее?

– Маменька, – печально проговорил Гиацинт, – вы меня учили, что надо всегда говорить правду.

– Конечно, сын мой. Ложь недостойна благородного человека, а короля тем более. Правду надо говорить ближнему, но народу – дело другое. Народ – дитя. Надо

прикрашивать истину для его же пользы, чтобы он был спокоен и слушался.

– Стало быть, существуют две нравственности?

– Спроси у министров, милое моё дитя. Теперь время заседания, и они уже два дня ждут тебя. А я знаю только одно – я тебя люблю и обнимаю. Прощай, философ мой прекрасный!

Поднявшись на ноги, Гиацинт взял хлыст и прямо пошёл в ту комнату, где жили его собаки. Увидев его, вся стая пришла в волнение; поднялся визг, лай; начались всевозможные нежности. Гиацинта особенно изумило то, что воротившись к человеческому образу, он ещё понимал язык собак. Любопытство обезоружило его, и вместо того, чтобы отпороть хлыстом неблагодарный народ, изменивший ему в тяжёлую минуту, он прислушивался к его толкам и возгласам.

– Это хозяин, – говорила болонка, осыпая его ласками.

– Может быть, у него лежит сахар в кармане, – шептала особенно нежная левретка.

– У него хлыст, – лаял борзой кобель, лизавший ему руку.

Гиацинт ударом хлыста разделался с этою раболепною толпою и вошёл в залу совета.

Туш-а-Ту, Плёрар и Пиборнь тотчас встали; они бросились к Гиацинту с такою поспешностью, наговорили ему столько приветствий, стали хватать его за руки с таким жаром, что Гиацинт невольно припомнил своих собак; но он подавил в себе эту неприличную мысль и самым ласковым образом поблагодарил министров за их заботливость о его здоровье.

Когда открылось заседание, граф Туш-а-Ту представил к подписи пятьсот назначе-

ний, накопившихся за два дня. Гиацинт начинал понимать своё ремесло. Он взял перо и стал подписывать не читая.

Подписывая, он разговаривал с министрами, которых приводила в восторг его податливость.

– Граф Туш-а-Ту, – сказал он, – приготовьте мне, прошу вас, ещё один декрет. Во дворце есть бесполезная стая собак, я её уничтожаю. Я хочу, чтобы через час меня избавили от этих животных.

– Государь, – сказал граф самым серьёзным тоном, – желание ваше не может исполниться так скоро. Это важное дело. Тут замешаны интересы, с которыми надо обходиться бережно. Нужно время.

– Как! – вскрикнул Гиацинт. – Я, король, не имею права прогнать моих собак?

– Государь, тут есть капитан псарни и два помощника. Это чиновники, и они ни в

чём не провинились. Администрация имеет в отношении к ним свои обязательства.

– И прекрасно, – сказал король. – Я никого не хочу обижать. Собак отправьте к чёрту, а за капитаном оставьте и титул, и жалованье.

– Это невозможно, – сказал Туш-а-Ту, – жалованья без должности не может быть; это было бы незаконно. Закон на этот счёт выражается положительно.

– Стало быть, – сказал Гиацинт, начиная терять терпение, – я должен буду оставить у себя этих собак против моей воли, для удовольствия г. капитана псарни и его двоих помощников?

– Умоляю вас выслушать меня снисходительно, – ответил мудрый министр. – Вы изболите усмотреть, что, подвергая себя опасности вас прогневать, я отстаиваю величайший принцип и таким образом исполняю священнейшую из моих обязанностей.

– Что такое! – сказал Гиацинт с презрением. – Мой трон пошатнётся, если я закрою свою псарню?

– Государь, в политике нет мелочей. Монархия Ротозеев обязана своим величием той централизации, которая возбуждает зависть всего мира. Администрация – обширная сеть, которая своими частыми петлями опутывает и связывает самого значительного и самого смиренного из ваших подданных. Оборвите один узел – всё пролезет в дыру, всякий будет делать, что хочет.

– И мы перестанем быть Ротозеями, – сказал барон Плёрар голосом негодующего патриотизма.

– Но администрация, – продолжал Туш-а-Ту, – не химерическая отвлечённость; это – живое тело, сосредоточивающее в себе все знания, всю энергию, всю волю нации; это – гражданская армия со своим особым духом, со своею честью, своими традиция-

ми, своею законною гордостью и щекотливостью. Надо беречь эту армию, государь; она вам нужна наравне с вашими солдатами. Капитан псарни – человек маленький, но какой бы он маленький ни был, раз как он составляет часть администрации, он должен быть ограждён. К нему нельзя прикоснуться, не приводя в смущение всех слуг государства. Во сто раз лучше удерживать бесполезную должность, чем выгнать в отставку чиновника и оскорбить ту армию, которая приняла его в свои ряды.

– А народ плати! Вы об этом подумали? – спросил Гиацинт.

– Народ должен платить, он на то создан, – сказал барон Плёрар, с изумлением глядя на Гиацинта.

– Государь, – снова заговорил Туш-а-Ту, – я не буду проводить наши принципы с тою строгостью, какую обнаруживает мой почтенный товарищ. Вы имеете достаточные основания щадить свой народ и

не налагать на него ненужные тягости; но из двух неудобств следует выбирать меньшее. Несколько миллионов, уплачиваемых толпою без особенных затруднений, что же это может значить в сравнении с интересами и правами администрации?

– Арлекин, – воскликнул король, – твоя правда: в моей державе два народа.

Министры переглянулись. Арлекин неизвестен Ротозеям: он иногда появляется на театральных подмостках, но нет обычая призывать его в качестве политического авторитета.

– Государь, – сказал Туш-а-Ту, – вы можете положиться на моё усердие; в непродолжительном времени всё будет устроено к вашему совершенному удовольствию. Для этих трёх чиновников придумают новые должности и будет найдена возможность переместить их с повышением.

– Очень хорошо, милостивый государь, – сухо сказал молодой король. – Я вижу, что

администрация держит у себя под опекой государя вместе с народом. Царствует она, а не я. При случае я это припомню. Перейдём к очередным делам.

Министр выбрал несколько кип бумаг, пересмотрел их, привёл в порядок и заговорил самым торжественным тоном:

"Государь, ваши незабвенные предки, эти великие законодатели, так долго умеряли, направляли и регламентировали деятельность ваших народов, что после них нам остаётся только подбирать забытые колосья. Но если ничто не укрылось от их изобретательный предусмотрительности, если они подвели под ранжир людей и их занятия, то истина вынуждает меня сказать, что они совершенно забели один из главных элементов общества, животных, и прежде всего собак, которые только что сейчас обращали на себя просвещённое внимание ваше.

Чтобы пополнить этот политический пробел, мы уже кое-что сделали. Собаки занумерованы и подвергнуты патентному сбору подобно гражданам. Требования равенства удовлетворены. Но можно и должно идти дальше. Тут открывается поле для самых плодотворных опытов. Мы можем испытывать над собачьей породой все усовершенствования, которыми впоследствии воспользуется человечество.

Для вступления на этот новый путь я подвергаю на рассмотрение ваше следующий проект закона. Это первый опыт законодательной физиологии".

ПРОЕКТ ЗАКОНА ПО ЧАСТИ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И ОБНОВЛЕНИЯ СОБАЧЬЕЙ ПОРОДЫ.

"Гиацинт, милостью судьбы и покровительством фей, и проч. и проч.

Принимая во внимание, что, по новейшим открытиям науки, подбор составляет естественное средство улучшать и обновлять породы;

принимая во внимание, что, если ещё не найдена метода для применения этого средства к роду человеческому, то тем более необходимо испробовать оное на собачьем племени;

принимая во внимание, что страна Ротозеев издревле славится своими породами собак, что в ней находятся прекраснейшие типы гончих, легавых, сторожевых, такс, овчаров, бишонов, грифонов, датских собак, и проч.;

принимая во внимание, что необходимо воспрепятствовать на будущее время блудодейственным смешениям, извращающим и оскверняющим чистоту типов – повелеваем, дабы со дня обнародования сего закона полиция схватывала и истребляла административным порядком буйственные и

грубые породы, низшие или смешанные расы, как то: волкодавов, дворовых, бульдогов, пуделей, карлинов и проч., а также всех животных сомнительной масти, которые не в состоянии будут доказать чистоту своей крови и благородство своей генеалогии".

– Государь, – прибавил министр, – в этой мере заключается политическая мысль, которая не укроется от проницательности вашей. Когда приложим подбор к собакам, к лошадям, к ослам, к коровам, к козам, к овцам, к курам, к голубям, к уткам, к индейкам и к гусям, когда в ваших владениях все расы будут утончённые, аристократические, изящные и послушные, тогда великолепие этого зрелища заставит Ротозеев почувствовать, что отеческое правительство не должно останавливаться на животных и что ему подобает регулировать человеческие союзы, – чтобы поддерживать в королевстве чистоту и благородство крови: придя к этому пункту, мы, в самом деле,

будем первым народом земли, достойными подданными государя, которому феи, его крёстные матери, дали в удел грацию, и красоту.

После этой красноречивой тирады Туш-а-Ту остановился, сияя самодовольством и выжидая ту справедливую дань похвал, которая была заслужена такою новою и глубокою политикою.

Гиацинт долго не говорил ни слова. Он был бледен. Губы его дрожали.

– Милостивый государь, – заговорил он прерывающимся голосом, – я желаю думать, что вы говорили серьёзно. Мания регламентировать мешает вам видеть, как много в этом проекте гнусного и смешного. Вы так часто произвольно распоряжались людьми, что вы находите совершенно естественным поступать так же бесцеремонно со всеми остальными созданиями. С какого права вы осуждаете на смерть беззащитные существа, которые Бог дал вам в това-

рищи и доверил вашему милосердию? Как! для испытания системы вы будете хладнокровно проливать кровь несчастных?

Сердце говорит мне, что не так управляют государством. Первая обязанность государя уважать, щадить всё, что его окружает, оставлять жизнь всему живому. Не тушите этого светоча, которого вы не можете снова зажечь. В чём вина этих бедных животных? В их безобразии? Это не беззаконие. В их верности? Это не преступление. Не оскорбляет ли вас, чего доброго, их независимость? Вы, быть может, уже настолько поработили людей, что не можете терпеть даже свободу собак?

– Изумительно, – воскликнул Пиборнь, вставая, – бесподобно! Если я нарушаю приличия, прошу простить меня. Я не рассматриваю дела по существу – это мне всё едино; но форма, но движение, но выбор слов, но ирония! Ах, государь, счастье наше, что вы король, а то вы затмили бы всех адвокатов!

Туш-а-Ту, не разделявший восторга Пиборня, холодно посмотрел на короля и сказал назидательным тоном:

– Государь, мы можем только рукоплескать великодушным чувствам вашим. Было бы достойно сожаления, если бы в ваши лета, государь, ваше сердце не пылало этим священным огнём. Но опыт перерабатывает эти обманчивые иллюзии; вы узнаете, что политика не имеет ничего общего с человеколюбием. Расточая золото и кровь народов, ваши предки делали великие дела; внуки восторгаются теми, кто посылал на смерть дедов. Потомство обожает только завоевателей. Не следует обольщаться ложным милосердием; с народами надо поступать круто; они кусают руку, которая их ласкает; они лижут руку, которая их давит. История представит вам доказательства.

Оставим же, следовательно, в стороне эти суетные внушения человеколюбия. В политике, как в медицине, человек падает в обморок, когда в первый раз проливает

кровь, но великим политиком и великим медиком является только тот, кто закаляет своё сердце к чужим страданиям и видит только цель, лежащую перед ним.

Обратимся теперь к закону, смутившему вас. Помогать природе, устраняя некоторые особи и совершенствуя таким образом породу, осуществлять высшие концепции новейшей философии – это не угодно вам. Вы опасаетесь систем. Пусть так! Останемся на чисто практической почве; будем заботиться исключительно об интересах нынешнего дня. Есть несомненная причина для того, чтобы принять героическое решение. Вот она, эта причина!

Если вам угодно будет бросить взор на эти бумаги, вы увидите, что полиция напала на след отвратительного заговора. Люди, у которых нет ничего святого, условились предать город врагам самого ужасного сорта. Чижевка, тюрьма бродячих и подозрительных собак, подрыта; этих злодеев спустили на мирных граждан... Ужас царст-

вует повсеместно. К счастью, полиция не дремлет, она отслеживает виновных; злоумышленники скоро испытают на себе всю строгость законов.

– Это ужасно, это возмутительно, – закричал барон Плёрар.

– Это просто смешно, – холодно сказал Гиацинт. – Что за шум, что за суматоха из-за того, что собаки пробежали через дыру!

– Да, – сказал барон, – но кто вырыл эту дыру? В этом вся сущность дела.

– Инспекторы, – сказал Туш-а-Ту, – не согласны между собою касательно употреблённых орудий; но они единодушно показывают, что дело сделано рукою человека и обнаруживает адскую изобретательность. Полагают даже, что тюремщик действовал заодно с заговорщиками, и требуют его смещения.

– Это уж из рук вон! – сказал Гиацинт, пожимая плечами, – Коли на это нужны ин-

спекция и администрация, так это самая бесполезная трата. Успокойтесь, господа, заговора никакого нет. Эти собаки, которых вы так развязно устраняете, оказались умнее ваших инспекторов, сами прорыли себе яму и убежали.

– Государь, – сказал Туш-а-Ту довольно угрюмо, – у меня тут доклады. Администрация решает не на основании предположений более или менее остроумных. Инспекторы были на месте и всё видели собственными глазами.

– Ну! и я тоже всё видел! – закричал раздражённый Гиацинт, – Вас это изумляет, господин министр. Да, я лучше вашей полиции знаю, что делалось в Чижовке; я знаю и то, что вам, быть может, неизвестно: третьего дня туда посадили левретку горничной вашей дочери.

– Точно так, государь, – сказал изумлённый Туш-а-Ту.

– Я знаю, что капитан Явор-Пустоцвет жаловался на тюремщика Ла-Дусера главнокомандующему наших армий.

– И это верно, – сказал Туш-а-Ту, совершенно озадаченный.

– И я знаю так же верно, что две собаки, которых я вам не назову, вырыли этот адский подкоп и сбили с толку вашу полицию и ваших инспекторов.

– Слава королю! – весело закричал Пиборнь, – Гиацинт затмевает Калифа Багдадского.

Туш-а-Ту неприветливо посмотрел на адвоката и, как упрямый и отчаянный игрок, поставил всё на последнюю карту.

– Если собаки, – заговорил он, – достаточно умны, чтобы без посторонней помощи разрушать те тюрьмы, в которых их заключает закон, то необходимо покончить дело с этими новыми мятежниками. В противном случае от них можно опасаться все-

го; это видно из следующего доклада, полученного мною сегодня утром:

"Генеральный инспектор королевских садов имеет честь доложить его превосходительству господину министру, что третьего дня, часов в десять утра, смотритель Лелу встретил в саду большую собаку нечистой породы, с белою курчавою шерстью. Так как на этом животном не было ни ошейника, ни намордника и ничего такого, что составляет отличие добропорядочной собаки, то, очевидно, она могла забраться в королевские сады только по небрежности или при злонамеренном потворстве часовых.

Заметив, что это животное приставало преимущественно к детям, смотритель Лелу стал за ним следить и скоро заметил в нём признаки бешенства. У него глаза были мутные, а на губах пена. Тотчас, не думая об опасности, храбрый Лелу, вооружённый простою тростью, бросился на этого ужасного противника. Завязалась жестокая борьба; животное несколько раз бросалось

на упомянутого Лелу, которому удалось счастливо избежать укушений (избежать укусов). Победа осталась за представителем власти. Собака, смертельно раненная, выбежала на улицу и там испустила последний вздох.

Нельзя не трепетать при мысли о невинных жертвах, которые пострадали бы от этого чудовища, если бы их не спасло самоотвержение Лелу, который уже не в первый раз обнаруживает свою неустрашимость".

– Государь, – продолжал Туш-а-Ту, – я изготовил декрет о пожаловании медали и пенсии герою, отличившемуся таким благородным подвигом.

В ответ на эти слова Гиацинт разорвал поднесённую ему бумагу.

– Изготовьте, – сказал он, – декрет об исключении этого Лелу из службы; он бесстыдный лгун, а генеральный инспектор – простофиля, и его водят за нос мошенники.

– Государь, – сказал Туш-а-Ту, – составлен протокол. – Протоколу надо верить, покуда не будет доказана его подложность.

– Ну, я и доказываю его подложность, – возразил Гиацинт, – я там был, я всё видел; это чудовище – безвреднейший пудель, несколько не бешеный; он никого не кусал, и его никто не убивал. Отличная штука, ваша администрация! Постоянно открывает то, чего никогда не было!

– Государь, – сказал Туш-а-Ту, – я вижу с прискорбием, что я моею службою не имел счастья угодить вам, и я почтительнейше прошу принять моё прошение об отставке.

– Вы, граф, напрасно принимаете это дело так близко к сердцу. Я не возлагаю на вас ответственности за ошибки и невежество вашего подчинённого.

– Государь, я глубоко тронут вашими милостями. Я удаляюсь не по чувству оскорблённого самолюбия; я и все мои домашние,

мы всегда будем у ног ваших. Но я глава администрации, этого великого тела, которое сдерживает народ и поддерживает государство. С той минуты, как администрацию судят и порицают, с той минуты, как её непогрешимость становится предметом сомнений, – её господство над умами уничтожено, её сила сокрушена; анархия стучится в двери, королевская власть подвергается опасности. Я не буду принимать участие в этом разрушении общественных уз. Я вырос вместе с администрацией, я паду вместе с нею.

– Хорошо, – сказал король. – Барон Плёрар, я назначаю вас на место графа Туш-а-Ту. Изготовьте декрет.

– Государь, – сказал барон жалобным голосом, – моя обязанность повиноваться приказаниям вашего величества.

Подписав декрет, Гиацинт вышел в дурном расположении духа. Министры остались в зале.

– Любезный граф, – сказал барон, – я преклоняюсь перед вашей энергией. Король молод; урок был ему необходим. Вы мужественно сказали ему правду.

– Да, – сказал Туш-а-Ту, – и это не мешало вам принять моё место.

– Как! мой добрый друг, – воскликнул барон, – вы разве не понимаете настоящей побудительной причины моих поступков?.. Вы разве ж не видите, что этот юноша пропитан революционными идеями? Если б я отказался от должности, я отдал бы его на жертву злодеям, которые стали бы распоряжаться по-своему его невинностью. Я принёс себя в жертву, чтобы спасти администрацию.

– В самом деле, – сказал граф ироническим тоном, – я не знал, как много я вам обязан, мой несравненный друг. При первом удобном случае вы можете рассчитывать на мою благодарность.

Как только Туш-а-Ту ушёл, Пиборнь стал кататься со смеху.

– Он не в духе, – сказал он, – и поделом ему! Мало с него было дразнить Ротозеев; не мог он собак оставить в покое. Я охотник: много лет здравствовать собакам! Они лучше всяких людей! Кабы я бегал на четвереньках, я бы подал проект, чтобы Гиацинту воздвигнули (соорудили, воздвигли) триумфальную арку и чтобы на ней написали золотыми буквами:

"Своему спасителю, благодарные пудели".

Пока адвокат смеялся надо всем, по обычаю своего сословия, отставленный министр вёл разговор с главнокомандующим. После непродолжительного совещания он воротился твёрдым шагом домой, позвал к себе дочь, потолковал с нею и не стал улаживаться.

XIII. SI VIS PACEM, PARA BELLVM. (5)

Изумлённый принятым решением, король ходил большими шагами по одному из салонов своего дворца; он раздумывал, не зашёл ли он слишком далеко, приняв отставку искусного и верного министра; он начинал замечать, что в его венец вплетено достаточное количество терний. Он хотел посоветоваться с матерью, но в это время дежурный камергер вручил ему визитную карточку, и в ту же минуту, с быстротою пущенного ядра, ворвался в комнату главнокомандующий королевских армий генерал-барон Бомба.

Это был большой и толстый пятидесяти-летний человек. Походка у него была твёрдая, грудь вперёд, плечи назад, шея непреклонная. Волосы, стриженные под гребёнку, низкий лоб, вздёрнутый нос, сильно развитые челюсти, щёки, подпёртые туго застёгнутым воротником, придавали генералу вид не очень любезный, который, однако, не произвёл на короля неприятного впечатления. Он нашёл в нём некоторое сходство со своим старым другом Арлекином.

– Государь, – заговорил барон громовым голосом, – прошу прощения, что вхожу так стремительно. Я получил такие известия, которые обязан немедленно сообщить моему королю. Я шёл с ними к графу Туш-а-Ту, но вдруг узнал, что он уже не у дел. Я взял на себя смелость нарушить этикет. Когда король выслушает меня, он меня извинит.

– Говорите, генерал, вы меня пугаете. Разве государство находится в опасности?

– Да, государь, над вашим величеством глумятся; нацию Ротозеев оскорбляют. Король Остолопов не знает пределов своей дерзости. У меня в руках все доказательства вот в этих письмах. Да он у нас подавится своими ругательствами, отсохни у него проклятый язык. Виноват, государь, я старый солдат, не умею полировать выражения.

– Хорошо, – сказал Гиацинт, улыбаясь. – Садитесь, генерал, я вас слушаю.

– Государь, – начал барон, – королева, ваша родительница, сохрани её Создатель, великая и мудрая государыня! Но в течение шести лет она только о том и думает, чтобы жить в мире со всеми соседями. И что же из этого вышло? То, что я предсказывал. Эти шельмы Остолопы работали, фабриковали, покупали, продавали, разбогатели; расплодились они, как кролики, и теперь эти господа нас в грош не ставят. Смеем говорить, нас, мол, так же много, да мы-де такие же храбрые, да коли вы, Рото-

зеи, в наши дела будете соваться, так мы вам покажем виды.

– И вас это тревожит, генерал?

– Не тревожит, государь, а только мне досадно. Коли эти прохвосты будут у себя хозяевами, тогда мы перестанем быть великою нацией. Перед Ротозеями, значит, уже не трепещет земля; мы унижены.

– Вы так думаете, любезный мой барон?

– Государь, это общий голос. Вот уже шесть лет держат под ружьём пятьсот тысяч человек; их одолевает нетерпение. Шесть лет офицерам нет производства; армия скучает; армия чувствует себя униженною. Прошу вас вникнуть; так не может продолжаться; ружья выстрелят сами собою.

– Но, генерал, я должен щадить мой народ, я не могу вести войну потому, что благоденствие моих соседей растёт и что

мои офицеры хотят производства. Нужна же, по крайней мере, причина.

– Я уже докладывал, что король Остолопов произнёс дерзкие слова. Должен ли я буду повторять его гнусные выходки?

– Чтобы обидеться ими, – сказал Гиацинт, – должен же я их знать?

– Государь, эти конфиденциальные письма извещают меня, что, узнав о вашем нездоровье, король Остолопов, после обеда, сказал своему брату, великому герцогу, в присутствии своих адъютантов: "Что вы думаете об этом крестнике фей? Падает в обморок от фейерверка!" А великий герцог отвечал: "Я бы не прочь был встретиться лицом к лицу с этим молодчиком. У меня, должно быть, на ладони больше волос, чем у этого молокососа на подбородке".

– Он сказал: "У этого молокососа"! – вскрикнул Гиацинт, вставая, весь бледный от гнева.

– Да, разрази его гром! Он сказал: "У этого молокососа". Газеты повторяют, армия узнает, народ Ротозеев увидит, что его оскорбляют в особе вашей.

– А! Великий герцог хочет встретиться со мною лицом к лицу, – сказал Гиацинт, стиснув зубы, – мы доставим ему это удовольствие, и скоро.

– Bravo, государь! – закричал барон Бомба. – Вы достойный сын вашего неустрашимого родителя! Не будем терять ни минуты. Всё готово: арсеналы переполнены снарядами, в магазинах всего вдоволь, армия укомплектована; без малейшего труда можно собрать триста тысяч человек на границе и захватить врага врасплох. Вам надо же показаться жителям провинций. Извольте ускорить ваше путешествие. Я сосредоточу войска, будто для смотра, и вдруг, когда противник будет чувствовать себя в полной безопасности, ему отправят громовой ультиматум, на него бросятся, его раздавят. О, государь, когда в ваших юных

руках будет развеиваться по ветру наше старое знамя, какая радость вашему народу! Какие восторги в армии! Какой всеобщий энтузиазм! Государь, при этой мысли я невольно плачу; позвольте старому солдату вас обнять.

– Благодарю, генерал. Я под вашим начальством хочу сделать мою первую кампанию. Не выдавайте нашей тайны и всё приготовьте. Мы отправимся, когда вам будет угодно.

– Завтра же. Будьте уверены, я, как тень, не отстану от вас ни на шаг. Но позвольте мне дать вам совет. Там нас хватит на всё, но здесь необходим ум твёрдый и решительный, который не дал бы охладеть народному воодушевлению и, в случае необходимости, заставил бы страну выставить в поле последнего человека и выдать последнюю копейку. Общественное мнение указывает на одного человека, способного выполнить это трудное дело, – на графа Туш-а-Ту.

– Не говорите мне о нём, – сказал Гиацинт. – Граф оскорбил меня своим высокомерием.

– Государь, простите старого солдата; граф держит всю администрацию в руке; он один...

– Довольно, генерал; до завтра.

Прямо от короля суровый воин побежал в один дом, где ждал его отставной министр.

– Победа, любезнейший граф, – сказал он. – "Молокосос" наделал чудес: война решена; ребёнок у нас в руках, и мы его вышколим по-своему.

– А моё место? – спросил Туш-а-Ту.

– Возня была. Государь оскорблён вашей отставкой. Я, впрочем, надеюсь.

– Благодарю, любезный барон. Век не забуду вашей услуги.

– Рука руку моет, любезный друг, – сказал генерал. – Вы тоже не забудьте, что вы мне обещали. Коли я рискую шкурой, так за то я хочу быть князем, там невеста каким, и при княжестве чтоб были большие владения.

– Это уж ваше дело, – весело сказал граф. – Разбейте сначала неприятеля, а насчёт остального положитесь на меня.

– А вы поскорей министром-то сделайте, – сказал барон. – Мы ведь завтра едем.

– Будьте покойны, генерал. Всё будет устроено. Прощайте.

Гиацинту предстояли новые волнения. Узнав об отставке графа и о воинственных замыслах, королева не позволила себе ни одного слова укоризны, но она залилась слезами и нежно обняла сына. В молодости, если человек любит свою мать, такие аргументы неотразимы. Король, глубоко задумавшись, вошёл к себе в кабинет, не-

довольный другими и самим собою; тут ему доложили, что виконтесса Туш-а-Ту просит у него аудиенции и ожидает его в салоне.

Тамариса во дворце! Тамариса, быть может, нуждается в его помощи! При этой мысли Гиацинт побледнел, и когда он вошёл в зал, сердце его билось.

В чёрном платье, в кружевной мантилье, Тамариса своим грустным и смиренным видом окончательно сразила короля.

– Государь, – сказала она с глубоким поклоном, – простите смелость вашей верно-подданной; я явилась сюда от имени моего отца, чтобы исполнить обязанность.

Она остановилась, как будто подавленная страхом и благоговением. Гиацинт был принуждён взять её за руку, чтобы её успокоить.

– Государь, – продолжала она, – десять лет тому назад король Ротозеев, ваш незабвенный родитель, возвращаясь из своей

седьмой кампании против наших вечных врагов, вручил графу Туш-а-Ту свою боевую шпагу.

"Возьмите это оружие, любезный мой министр, – сказал он ему, – сохраните его как священный залог, и если меня не будет в живых, когда моему сыну минет восемнадцать лет, передайте ему сами эту победоносную шпагу как воспоминание о моей нежности к нему, о моей дружбе с вами".

– Эта шпага – вот она, – продолжала Тамариса. – Отец мой должен был поднести её вам ещё двумя годами позднее; но так как он теперь оставляет двор и навсегда удаляется в свои поместья, он счёл своим долгом возратить вам теперь этот драгоценный залог. Если когда-либо, чего Боже упаси! война снова возгорится между обоими народами, пусть это славное оружие озарится новым блеском в руках ваших. Это – последнее желание моего отца и моё собственное также.

Прекрасная виконтесса сделала второй реверанс, и потупив глаза, она ожидала, чтобы король позволил ей удалиться. Гиацинт всё ещё держал руку Тамарисы в своей руке, и обе руки дрожали.

– Зачем граф хочет оставить двор? – заговорил король после непродолжительного молчания. – Мне, быть может, не раз зандобятся его советы.

– Государь, – ответила Тамариса, – мой отец – человек античных доблестей; ничто не может поколебать непреклонность его принципов. Слуга короля и государства, готовый с радостною гордостью заклать себя на алтарь их величия, он никогда не согласится подать повод к ослаблению власти. Его присутствие при дворе вызвало бы опасные сравнения и предосудительные сожаления: первая обязанность отставного министра – заставить о себе забыть. Ничего для себя, всё для государя – вот политическая вера графа; я уважаю её и восхищаюсь ею. Это и моя вера. Я делила сча-

стье моего отца, я разделю его опалу, как бы ни была велика жертва, и я без жалоб последую за ним в то уединение, в котором мы затворимся навсегда.

– Вы также, Тамариса, вы меня покидаете! – воскликнул король, – и в такую минуту! Всё мне изменяет. Нет у меня на земле ни одного друга.

Вместо всякого ответа Тамариса подняла к небу свои прекрасные глаза, полные слёз. Гиацинт почувствовал себя побеждённым и даже не пробовал сопротивляться. Он позвонил.

– Позовите графа Туж-а-Ту, – сказал он.
– Я его жду.

– Прощайте, государь, – сказала виконтесса с самым грациозным реверансом и самую сладостную улыбкою.

– Не прощайте, Тамариса, – до свидания!

Что произошло между королём и его верным министром – это неизвестно, но на другой день в Официальной истине появилась следующая заметка:

"Вчера распространился слух о перемене министерства. В этом слухе нет ни одного слова правды. Публика должна вооружаться всем своим благоразумием против этих выдумок праздных умов и злонамеренных газет. Если бы эти слухи продолжали распространяться, правительство увидело бы себя вынужденным принять строгие меры против тех, кто их распускает."

Далее значилось:

"Уезжая к северным границам государства, чтобы показаться народу, жаждущему выразить свою любовь и преданность, король назначил графа Туш-а-Ту председателем совета министров и предоставил ему обширнейшие полномочия".

В то же время официозные газеты сообщали, не ручаясь за них, следующие из-

вестия, о которых говорили при дворе и в городе:

"Благодарность – королевская добродетель. Говорят, что, в награду за долгую службу графа Туш-а-Ту, король собственноручно возложил на него большое ожерелье ордена. Утверждают, что граф будет возведён в сан князя-архиканцлера и займёт место непосредственно за членами королевской фамилии.

Барон Жеронт Плёрар, говорят, назначен, по своей собственной просьбе, генеральным директором народного просвещения и духовных дел. Уже давно блеск его добродетелей и солидность его принципов делали его достойным претендентом на этот высокий пост. Если он удаляется от политики, то это удаление только кажущееся. Что может быть для государства важнее того направления, которое даётся подрастающим поколениям, важнее заботы об этом будущем, которое скоро сделается настоящим? Исправлять должность, остав-

ленную бароном Плёраром, будет граф Туш-а-Ту.

Кавалер Пиборнь, говорят, скоро едет в Швигенбад. Он страдает болезнью дыхательного горла, которая требует самого серьёзного лечения. Медики предписывают ему строжайшее молчание. Во время его отсутствия исправлять его должность будет граф Туш-а-Ту.

Генерал-барон Бомба, сопровождающий короля в его путешествии, уехал вчера всё приготовить. Северные города, столь известные великолепием своего гостеприимства, хотят перещеголять самих себя, и армия, говорят, примет блистательное участие в этих гражданских празднествах. 10-го июня в Канонвильском лагере произойдут большие маневры, с подобием войны и приступа: расстреляют более миллиона патронов. Вечером будет бал, ужин и фейерверк; приглашено, говорят, до десяти тысяч дам. Счастливая страна, где люди предаются этим невинным забавам и где гром

пушек возносит к небесам радость ликующего народа!"

Через неделю после этих мирных известий война была объявлена, и армия уже переступила границу; шестьсот тысяч человек бежали форсированным маршем резать друг друга.

XIV. БИТВА ПРИ НЕСЕДАДЕ.

22-го июня, на рассвете, Гиацинт гулял перед своею палаткою, беседуя с бароном Бомбою. Солнце ещё не вставало, но присутствие его уже чувствовалось. Утро было тихое и светлое, такое, когда человеку весело становится жить среди улыбающейся природы. Хлеба зеленели, луга были покрыты цветами, воздух пропитан благоуханиями. Ни шороха, ни дыхания ветерка; всё спало в лагере, кроме часовых, которые беспечно прохаживались, рассеянно поглядывая на небо.

Забили зорю. В одно мгновение, как рой, вылетающий из улья, армия выходит из своих палаток; складывают шатры, чистят лошадей, вытирают ружья, наскоро закусывают, пьют водку, болтают, смеются. Барабан трещит, солдаты разбирают ружья, строятся в ряды. Теперь ждут только при-

казания: убивать ли других, умирать ли самим? Всё готово.

Ординарцы скачут по равнине. Ежеминутно приходят известия, отправляются приказания. Сидя перед большою картою, барон Бомба втыкает и вынимает разноцветные булавки. Неприятель подходит; сила и направление различных корпусов известны; его намерения угадываются. Он приближается.

Генерал потирает руки с торжествующим видом.

– На коня, господа, – восклицает он, – бал начинается.

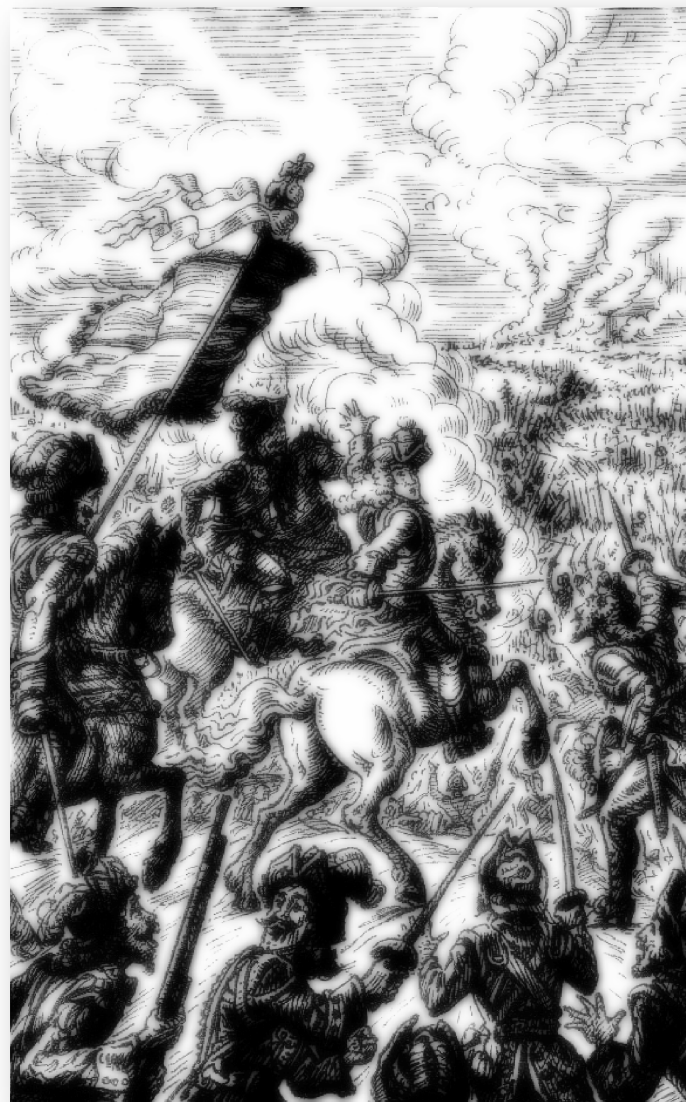
Раздаются три пушечные выстрела. При этом сигнале дивизионы скучиваются, полки выстраиваются в боевой порядок. Офицеры перебегают взад и вперед; старые солдаты ругаются сквозь зубы, молодые помалкивают. Из этих новобранцев одни думают о родине и о своих домашних; другие собираются с духом и дают себе зарок

не трусить. Наступает то молчание, за которым должна последовать буря.

Барабан бьёт встречу; показывается король, окружённый своим блестящим штабом. Вот он: "ура!"

Верхом на вороной лошади, держа в руке шпагу, отданную ему Тамарисою, Гиацинт отдаёт честь знамени, которое склоняется при его приближении. Каждый восхищается красотой и грацией короля; каждый принимает на свой счёт те слова, с которыми он обращается к полку: "Друзья мои, я на вас рассчитываю!". Из всех грудей, из всех сердец вырывается новый крик: "Ура!" Гиацинт улыбается – он счастлив.

– Нарцисс, мой друг, ты что-то невесел, – сказал старый сержант молодому солдату. – Когда проехал король, ты отчего не сделал, как другие делали? В день сражения, голубчик, надо порасшевелиться. Король – это отечество, это знамя. Надо было кричать.



– Будьте покойны, дядя Лафлёр. Сумеем умереть не хуже другого, чтобы...

– Ты сердишься, друг мой; это напрасно. Чем он виноват, этот ребёнок, что он любит войну? Его так воспитали; ничему другому его не научили. Ты думаешь, он знает, чего стоит отцу в поте лица своего вырастить себе сына до двадцати лет? Ему просто дали денег и людей без счёту и сказали: "Трать себе, как хочешь. Это твоё дело". Вот он и тратит, и занимается своим делом.

Нарцисс опустил голову и ничего не ответил. Он думал про себя, что если бы Гиацинта воспитали иначе, он, Нарцисс, был бы теперь возле своей милой Жирофле, вместо того, чтобы идти навстречу лишениям, болезни и смерти.

Проехав по боевому фронту, Гиацинт воротился в центр. Там, с холма, он стал следить глазами за движением армии.

Направо и налево, в отдалении, виднелись вереницы солдат, лошадей, пушек, зарядных ящиков. То какая-нибудь лощина скрывала батальоны, то тысячи штыков снова сверкали при свете солнца. Глядя на эту длинную процессию, растянувшуюся по равнине, можно было думать, что громадный змей медленно ползёт, свёртывая и развёртывая свои чудовищные кольца.

Скоро затрещал ружейный огонь, и заревели пушки. Когда, по временам, умолкала пальба, тогда слышались странные звуки. Небо было затянуто дымом, и кое-где, среди этих зловещих туч, поднимались огненные языки. Пылали хлебные скирды, горели целые деревни. Слова барона Бомбы оправдывались, бал начинался.

Главные силы армии двинулись. Они шли медленно. Артиллерия ехала по шоссе. По обеим сторонам, по засеянному полю, шли кавалерия и пехота, растапывая посевы и не оставляя позади себя ни одного колоса на корню.

Подходя к деревне Неседад, армия встретила с неприятелем, которого уже давно завидели передовые пикеты. Он занимал на высоте очень крепкую позицию. Но впереди, на самой равнине, стояла на боевом порядке целая армия, которая бросилась на Ротозеев, как только завидела их.

– Эге! – сказал барон Бомба. – Хитрецы хотят побить нас нашим же оружием. Эти проказники крадут у нас нашу же ротозейскую тактику. Да ведь этого мало, затейники. Надо было бы уж заодно взять и наших солдат.

Барон не ошибся. После двух кровопролитных атак, мужественно отражённых Ротозеями, отступили, и в их рядах обнаружил некоторый беспорядок.

Из деревни Неседад спустилась тогда блестящая кавалерия. Во главе отряда ехал шагом молодой человек большого роста, в белой тунике и в серебряной кас-

ке. Все подзорные трубки штаба устремились на этого человека. Один адъютант сказал:

– Я его узнаю. Я ему представлялся две недели тому назад. Это – великий герцог во главе своих кирасиров.

– Великий герцог! – воскликнул Гиацинт. – Пусть никто до него не дотрагивается. Он мой.

Он хотел пустить свою лошадь вскачь, но барон, улыбаясь, остановил его.

– Государь, – сказал он, – время героических единоборств прошло. С тех пор, как выдуман порох, такие дуэли решаются пушками. Кроме того, прежде чем вы доедете до великого герцога, он уже будет сбит с лошади. Нами стрелки уже целят в него. Парадировать на лошадке в виду неприятеля – это, конечно, очень красиво; но это не война, это безумие.

Гиацинт чувствовал странное волнение. Великого герцога он ненавидел. Он с удовольствием убил бы его своею рукою в единоборстве. Но видеть этого молодого человека, как он, храбрый и доверчивый, ехал прямо на врагов, и думать, что пуля, пущенная откуда-нибудь из-за куста, того и гляди свалит его, как беззащитную птицу, – это возмущало великодушного юношу. Это было скорее похоже на убийство, чем на дуэль.

Все смотрели молча. Пока великий герцог приближался, стрелки ползли вперёд по траве и прятались по канавам; вдруг в ту минуту, когда молодой начальник, повернув голову, отдал своим кирасирам приказание броситься в атаку, раздался залп, как будто из земли; целые ряды кавалеристов повалились, и, среди всей суматохи раненых, умирающих опрокинутых и изуродованных лошадей, перепуганный рыжий жеребец без седока бросился прямо к неприятельским рядам. Великий герцог

был убит. Обида, нанесённая Гиацинту, была заглажена.

– Теперь, государь, – сказал барон, хладнокровный по-прежнему, – начало сделано; надо продолжать. Видите маленькую церковь там на горе. Когда мы там будем, партия будет выиграна.

Добраться туда было нелегко. Три часа подряд дрались напропалую, а подвинулись всего на несколько шагов. Укрепившись в деревне, неприятель защищался с ожесточением; из каждого дома была сделана крепость, которую надо было брать приступом. Потери были огромны; целые полки исчезли; солдаты утомились, и к довершению несчастья с правого крыла стали получаться дурные известия: там неприятель одолевал. Ежеминутно прилетали во весь опор офицеры, требовавшие подкрепления; барон смеялся им в глаза и ругался как сапожник.

– Подкрепления, – кричал он, – где я им возьму подкреплений? Пускай околевают там, чёрт их разрази! Век они, что ль, жить собрались, собаки проклятые!

Вокруг короля лица были печальны; Гиацинт один был полон веры в счастливую звезду. Весёлость барона приводила его в восторг. Поэтому он немного удивился, когда генерал, отведя его в сторону, сказал ему потихоньку:

– Государь, теперь пришло время податься по-солдатски. Коли мы через час не будем там на горе, нам останется только воротиться домой, чтоб нас осмеяли Ротозеи.

– Уж лучше умереть! – закричал король.

И, пришпорив лошадь, он бросился в самое опасное место.

По дороге собрали всех попавшихся рассеянных солдат, гренадеров, егерей, стрелков, спешенных драгунов и уланов; с

этим священным батальоном сделали последнее могучее усилие. Два раза Гиацинт водил этих храбрецов на приступ, к церкви; два раза его отбивали. Вокруг него пули летали, люди падали, как подкошенные колосья; его раненая лошадь рухнула под ним и чуть его не придавила; ничто не пугало короля. Напротив того, порох и кровь его опьяняли. Он вскочил на ошалевшую лошадь и, с обнажённой головой, с развевающимися по ветру волосами, со шпагою в руке, при криках: "Да здравствует король!" ещё раз привёл в порядок свои войска и наконец победителем въехал в церковь, давя копытами лошади мёртвых и умирающих.

Там стали оглядывать друг друга.

– Где барон? – спросил Гиацинт.

– Государь, его отнесли тут поблизости в один дом: он ранен.

Король побежал к своему старому другу; старый друг лежал на вязанке соломы и

отдавал приказания, чтобы артиллерия, заехав во фланг неприятелю, довершила победу. У барона был полон рот крови; он шёпотом говорил со своим адъютантом; он был ранен пулею в грудь навывлет.

– Любезный генерал, – сказал Гиацинт, – я надеюсь, эта рана не будет иметь никаких серьёзных последствий, и вы скоро будете наслаждаться вашим торжеством.

– Мои счёты покончены, – сказал барон, – меня хватит ненадолго. Всё равно; неприятелю задали жару, и Ротозеи не над нами будут потешаться! Государь, займитесь армией; ещё не всё кончено. Прощайте, благодарю вас.

Гиацинт вышел, опустив голову и стараясь скрыть слезу. Барон подозвал солдата.

– Нет ли водки? – спросил он.

– Извольте, ваше превосходительство! – сказал сержант Лафлёр, подавая свою фляжку.

– Спасибо, старик. Заверни меня в плащ и поверни на бок. Сон был хорош, да короток. Прощай.

Это были его последние слова. Он больше не шевельнулся. Через час его не стало.

С церковной колокольни Гиацинт следил за поражением врагов. Оно было полное. Находясь под влиянием панического страха, несчастные больше не защищались. Они бежали, бросая ружья, сабли и ранцы. Батареи были заклёпаны, зарядные ящики опрокинуты, кавалерия неслась во весь опор и давила всё на своём пути. Напрасно офицеры старались остановить обеспамятевшую толпу. Их увлекали, ругали, сбивали с ног. Страх слеп и глух; тысячи людей тонули в реке, спасаясь от врага, который их больше не преследовал.

Так разыгралось знаменитое сражение при Неседаде, которое покрыло позором

Остолопов и переполнило радостью сердца Ротозеев.

В тот же вечер один из генералов короля Остолопов привёз Гиацинту письмо следующего содержания:

«Милостивый государь брат мой!

Победа ваша, у меня нет армии. Я прошу приостановки военных действий и мира; вы сами назначите условия; я предаю себя вашему великодушию. Побеждённый, я, по крайней мере, имею одну привилегию, за которую я плачу достаточно дорого, чтобы иметь право пользоваться ею в настоящую минуту. Я восхищаюсь храбростью и дарованиями, которые вы обнаружили сегодня. Я желал бы кончить так, как вы начинаете.

За сим, милостивый государь брат мой, я молю Творца, да хранит вас под святым своим покровом».

Король тотчас же велел прекратить военные действия, а переговоры отложил до завтрашнего дня. Он уже шестнадцать часов был на коне и нуждался в отдыхе. В наименее развалившемся доме ему приготовили постель из нескольких тюфяков, собранных с разных сторон. Он бросился на эту постель разбитый усталостью, с пылающею головой. Перед ним проходило такое множество картин, в нём самом поднималось столько мыслей, что он, не смотря на сильнейшее утомление, не мог заснуть. Но не столько слава, сколько мысль о Тамарисе прогоняла его сон. Он думал, что скоро явится перед нею победителем и к ногам своей возлюбленной положит свою шпагу.

В соседней комнате генералы и адъютанты угощали за своим столом гонца от короля Остолопов. В королевских фургонах нашлась подходящая провизия, и собравшаяся военная компания весело попивала,

припоминая события пережитого дня. Каждый из собеседников рассказывал свои подвиги, и у каждого выходило так, что именно он один выиграл сражение. Все единодушно осудили излишнюю смелость великого герцога; сказали, что он убит не собственному безрассудству; тем и ограничилось произнесённое ему надгробное слово. Много говорили о бароне Бомбе и о трёхстах офицерах, погибших вместе с ним; интересовались преимущественно вопросами о том, кто будет назначен на места покойников; ещё больше говорено было о производстве и об орденах; но всего усерднее превозносили счастье (счастье) армии, которой достался на долю молодой и храбрый король, Если с шестнадцати лет он начинает воевать, то нет таких чудес, которых нельзя было бы ожидать в будущем от его гения! Гиацинт уснул при сладостном ропоте этих похвал.

XV. ОБРАТНАЯ СТОРОНА МЕДАЛИ.

Во время сна королю привиделось видение, В лучистом сиянии перед ним явилась женщина в белом платье, с жезлом в руке. То была фея дня. Гиацинт узнал свою крестную мать. Он так долго любовался портретом белой женщины, висевшим в большом салоне дворца! Фея посмотрела на него долгим, внимательным взглядом и прошептала со вздохом:

«Бедный ребёнок, что бы с тобою было, кабы я о тебе не заботилась?»

И жезлом своим она обвела три круга около своего крестника.

Гиацинт проснулся вдруг на поле сражения, но уже не королём и победителем, а ещё раз в гнусной шкуре собаки. Утром судьба подняла его на такую высоту только затем, чтобы ещё глубже столкнуть его в бездну.

Была ночь; луна освещала равнину, и при её бледном свете тень холмов казалась ещё чернее. Кругом заколдованного короля всё было тихо и мрачно; в отдалении виднелись лагерные огни. Направо и налево, среди убитых лошадей, разбитых лафетов, разбросанных ружей, солдаты, повалившись навзничь, спали вечным сном.

На эти лица, искажённые страданием и яростью, сама смерть не смогла набросить свою печальную безмятежность. Их зубы были стиснуты, губы покрыты пеной, глаза навывкате; они ещё как будто грозили, или роптали, или просили Бога отмстить за их легкомысленно растраченную кровь.

На каких-то часах, вдалеке, медленно пробило двенадцать, тот час, когда мертвецы просыпаются. Гиацинт вздрогнул. Не чувствуя себя способным переносить долее взгляд этих остановившихся глаз, он забился в темноту, чтобы там укрыться.



Там-то и ожидало его ужаснейшее зрелище. Пользуясь темнотою, два мародёра, с потайными фонарями в руках, грабили мертвецов и глумились над смертью. Гиацинт, дрожа всем телом, притаился за опрокинутою пушкою.

– Вот этот женат, – говорил один из воров, – у него кольцо на пальце, только никак не снимешь.

– Отрежь палец, бестолочь, – сказал другой. – Видишь серьги, я их вырвал из ушей у этого солдата. Ведь издохли, так им всё одно.

– Офицер! – заговорил первый. – Будет пожива. У него часы есть.

– Ты поищи. Должен быть кошелёк.

– Да. А вот и портфель с запечатанным письмом.

– Лучше кабы с банковыми билетами, а впрочем, ничего, давай сюда. Посмотрим,

что-то он пишет своей душеньке. Позабавимся.

Разбойник развернул письмо и стал читать:

«Добрая моя мать, когда ты получишь это письмо, у тебя уже не будет сына, Предчувствие говорит мне, что меня завтра убьют. Пишу это письмо на всякий случай; надеюсь, что дружеская рука перешлёт его к тебе. Я хочу, чтоб ты знала, что мой последний вздох принадлежал тебе, и что я продолжаю любить тебя за пределами гроба. У меня нет ничего, кроме моей шпаги; я оставляю тебя без средств; я доверяю тебя Господу Богу; он тебя утешит. Я же умираю достойный тебя, верный тому чувству чести, которое ты мне внушила, счастливый тем, что проливаю кровь за величие короля и для спасения отечества».

– Ну, – сказал другой вор, – долго ты, что ли, будешь жужжать эту чувствительную чепуху? Примемся за работу. Сюда скоро заглянет месяц, нас увидят, и тогда, того и гляди, станут в нас стрелять.

– Да, твоя мать получит это письмо, – сказал мародёр торжественно, – и счастливы те, кто умирает по-твоему.

– Вот, – заворчал его товарищ, – опять ты мелодраму играть начинаешь. Чёрт их возьми, тех людей, что в школе побывали, вечно у них фразы на языке! Постой, тут что-то блеснуло, точно золото. Что бы это было?

Он поднёс фонарь поближе. Испуганная светом лошадь, покрытая великолепным чепраком, вскочила на ноги, заржала и стала лягаться. То был рыжий жеребец великого герцога. У него в брюхе была огромная рана, и он путался ногами в своих окровавленных кишках. Пройдя несколько

шагов, он упал, судорожно вытянул ноги и окошел.

В ту же минуту стая собак, взявшихся неизвестно откуда, с лаем бросилась на благородное животное и начала рвать его на части. При этом шуме воры побежали, не заботясь об оставленной добыче. По равнине замелькали фонари в большом количестве; подходил рунд (6).

– Эка пожива! – говорила одна из собак своим товарищам. – Что бы людям почаще задавать нам такие праздники.

– Вон там, – говорил другой пёс, – волки едят кирасирский полк.

– Видели, сколько воронов было сегодня вечером? – сказал бульдог.

– Завтра будет во сто раз больше, – ответил первый, – да что ж за беда? Мяса и крови хватит на всех.

– Да, – сказал борзой, – только завтра всё зароят.

– В один день не успеют, приятель, – ответила дворняжка. – Тут работы будет на неделю. А по лесам, по оврагам, по скалам, по канавам лежит много запропавших солдат и лошадей, мили на две кругом. Их не станут разыскивать да собирать. Славная штука – война. Настоящий пир для собак, для воронов и для волков!

Гиацинт в ужасе убежал. Он направился к той деревне, где несколько часов тому назад он блистательно рисковал жизнью. Там произошёл решительный удар; там мертвецы, наваленные друг на друга, тоннули в лужах крови. Гиацинт ещё раз собирался бежать без оглядки от этих ужасных сцен, когда вдруг он услышал стоны. Он подошёл поближе. Офицер, ещё молодой и красивый, полз на обеих руках, с трудом волоча за собою ноги, разбитые ядром.

– Воды! – бормотал он. – Воды! Помогите! Я за вас умираю, а вы меня бросили, чтоб я окошел как собака! Проклятая война! Воды или смерти, из сострадания!

Подвигаясь таким образом вперёд, изнемогая от боли, он упал на труп другого офицера.

– Фляжка, – крикнул он, – я спасён! Нет ничего, разбита! А! Пистолет – заряжен, слава Богу! Гиацинт, счастливый победитель, жаль, что ты не видишь...

И твёрдою рукою он размоzzжил себе голову.

При звуке выстрела умирающий поднял голову и осмотрелся кругом бессмысленными глазами. То был Нарцисс. Гиацинт узнал его и подошёл к нему.

– Это ты, Фидель? – вскрикнул солдат, заливаясь слезами. – Поди, поди сюда, я тебя, поцелую. Тебя Жирофле прислала, не

правда ли? Скажи ей, что я её люблю. Ах, не видать мне её больше.

– Сюда, ребята, – сказал грубый голос, – да прошу не рассуждать. Сержант Лафлёр знает, что делает, он старый усач, а вы все молокососы. Говорят вам, он здесь упал; я узнаю место, черти проклятые! Тут шестерых адъютантов в три минуты убило; один мне своим мозгом всё лицо забрызгал. Давайте фонарь... видите, вон тут двое лежат; другие тоже недалеко. Тут и есть. Нарцисс, голубчик, умер, что ли? – закричал он громовым голосом.

– Сержант, – слышался глухой стон.

– Вот он я, милый. Здравствуй, Нарцисс. Как дела?..

– Да вот видите сами, дядя Лафлёр.

– Что делать, друг, война! Нынче тебе досталось, завтра придёт мой черёд. Ты положишься на мою чувствительность, уж я

тебя так не оставлю. Эй вы, давайте носилки.

Чуть только тронули Нарцисса, ему сделалось дурно. Всё его тело было сплошной кровавою раной.

– Сержант, – сказал один из солдат, – не стоит его тащить – кончился.

– Советоваться я с тобою, что ли, буду? – ответил Лафлёр. – Кабы ты по-моему знал порядки, пустая твоя голова, так ты бы помнил, что человек кончается только тогда, когда майор его в свой реестр запишет. Идём, идём, да не разговаривать.

Завидев толпу, король-пудель спрятался в кучу трупов; он вышел оттуда в перепуге и побежал...

Чтобы уйти от этой бойни, наводившей на него ужас, Гиацинт свернул на просёлочную дорогу, шедшую к одной деревне. Война и сюда заглянула. Скот был раскраден, заборы разнесены, дома сожжены.

Везде дымящийся пепел, везде запустение, развалины.

На навозной куче хрипел умирающий крестьянин. Он защищал родину против неприятелей или имущество против мародёров. Его убили ружейным выстрелом. Возле него, с грудным ребёнком на руках, сидела на соломе его жена; четверо мальчиков, из которых старшему ещё не было двенадцати лет, обмывали поочерёдно бледное лицо отца. Сзади умирающего седой старик обращался к небу с бессильными жалобами и проклятиями.

– Отмсти за бедняка, Господи! – кричал он. – И за вдову! И за сирот! И за отца! Видишь, я отец, ты дал мне сына, а живодёры эти его убили! Чего ж ты, Господи, смотришь? Чего ты даёшь в обиду невинных?

– Успокойся, дедушка, – сказал один из мальчиков. – Мы отмстим за отца, ведь нас четверо. Придёт наше время, мы тоже их станем душить.



– Пойдём, брат, – сказал младший, – возьми камень; будем разбивать головы раненым.

– Дети, – закричала мать, рыдая, – не ходите. Вас убьют.

Гиацинт печально удалился.

«Боже мой! – думал он. – Куда бежать? Где спрятаться? Спасите, помогите!»

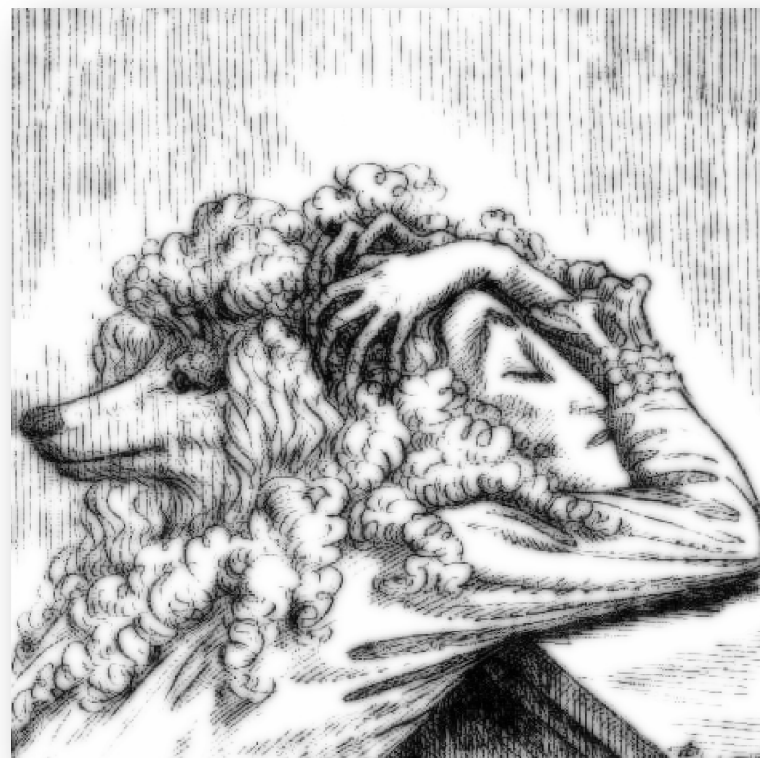
– Успокойтесь, государь, успокойтесь – произнёс голос адъютанта.

Гиацинт увидел себя на своей постели и осмотрелся кругом растерянным взглядом.

– Простите меня, что осмелился вас разбудить. Но вы изволили так стонать, что я счёл за лучшее положить конец удручающему вас видению.

– Жаль, что вы раньше этого не сделали! – сказал Гиацинт, вздыхая.

Он встал с постели, сел к столу и до рассвета просидел неподвижно, закрывая голову обеими руками.



XVI.

На другой день после блистательной победы при Неседаде Гиацинт отправился в походные лазареты осматривать и утешать раненых. В одной палате он увидел Нарцисса, в то время, как из него вырезывали шестую пулю. Гиацинт подошёл к нему и ободрил его, напомнив ему о Жирофле и обещав ему крест за храбрость. Тут же он увидел сержанта Лафлёра, назвал его по имени и обратился к нему с такими милостивыми словами, что старик чуть не захлебнулся от радости.

Воротившись на главную квартиру, король застал там графа Туш-а-Ту и кавалера Пиборня, который, прочитав в официальной газете известие о своей болезни, сейчас побежал к своему могучему сослуживцу, поговорил с ним минут десять и оказался совершенно исцелённым.

Граф приехал в лагерь для важных деловых совещаний. Надо было установить условия мира, и граф утверждал, что следует присоединить к королевству Ротозеев четыре смежные Остолопские провинции. Правда, жители этих земель не имели ничего общего с победителями и даже ненавидели их издавна. Не было единства ни в языке, ни в религии, ни в нравах; но это было не важно. Политика не останавливается на таких пустяках. Хорошими гарнизонами и солидной администрацией побеждаются такие антипатии. Достаточно принести в жертву два или три поколения.

Философы составляют себе смешные теории о расах и национальностях: опыт говорит совсем другое. Народы – мягкий воск, всё зависит от той руки, которая вдавлирует печать.

Король ответил графу, что ужасы войны ему противны и что он не хочет никаких завоеваний.

– Государь, – заговорил первый министр, – я понимаю и, осмелюсь вам сказать, разделяю ваши чувства. Поле сражения представляет ужасное зрелище. К таким зрелищам человек привыкает не сразу. Но великий король противится этой слабости своих чувств, он имеет в виду прежде всего величие своего дома. Пока будут на свете различные правительства и различные народы, до тех пор будут ссоры, драки, сражения. Война – болезнь, согласен, но болезнь необходимая. Человеческая мудрость может только уменьшить число её поводов, и чтобы достигнуть этой цели, самое лучшее средство – раздавить врага и довести его до бессилия.

– Граф, – ответил Гиацинт, – вы забываете историю. Мы уже в течение пяти веков дерёмся с нашими соседями; мы избили миллионы людей. Подвинулись ли мы вперёд с первого дня? Нет. Война порождает ненависть; ненависть, в свою очередь, порождает войну. Пора отказаться от

этой старой и ложной политики. Я хочу мира.

– Государь! – воскликнул торжественным голосом кавалер Пиборнь, поднимаясь с места, – не могу сдержать порывов моего восторга при виде умеренности вашего величества; но пусть король позволит своему верному слуге говорить с полной открытостью: дело трудное и опасное – разрывать связь с теми древними традициями, на которых зиждется величие Тюльпанской династии. Мудрость ваших предков, государь...

– Кавалер, – перебил Гиацинт, – вы уже говорили мне эту речь: постарайтесь опровергнуть её в следующем заседании.

«Тм! – подумал Пиборнь. – Граф совсем не так крепок, как я думал».

И он преспокойно уселся.

Наступило молчание. Потом Туш-а-Ту заговорил снова:

– Государь, прежде чем ваше величество изволите принять такое важное решение, умоляю вас ещё раз выслушать человека, состарившегося на государственной службе. Вся система покоится на двух столпах – на администрации и на армии; ослабить одно из двух – значит разрушить всё. Когда мир утвердится навсегда, будет ли ваше величество держать под ружьём армию в пятьсот тысяч человек? Что тогда делать с недовольными офицерами и с праздными солдатами? Долго ли страна будет переносить бремя столь же тяжкое, сколько и бесполезное?

– Мы разошлём по деревням триста тысяч пахарей, – ответил король. – Все останутся в барышах.

– В таком случае, – продолжал граф, – преобразования не ограничатся одной армией. Надо будет перестроить заново администрацию, систему налогов, всё правительство. На будущее время нам придётся жить исключительно трудом и бережливо-

стью, подобно мелким безвестным народцам у наших границ.

– Какое горе! – сказал Гиацинт.

– Да, государь, горе будет великое. Тот день, когда ваше величество распустите вашу армию, будет последним днём нашей старой и славной монархии. Король молод, он ещё не успел обнять в её совокупности изумительную организацию его державы; иначе он не стал бы разбивать с такою лёгкостью орудие, не имеющее себе подобных. Изучите нашу чудотворную централизацию, государь; вы увидите, как всё пригнано к той цели, чтобы все силы, все деньги, все средства страны сосредоточивались в руках короля. У народа нет ничего своего. Его золото, его кровь, его сыны – всё принадлежит королю.

Администрация держит в зависимости величайшего и малейшего из подданных; она приучает каждого Ротозея к труду, к послушанию, к податям, к военной службе,

и этим основательным воспитанием она выделяет из него первого солдата в мире. Слава государства, могущество короля – вот единственная цель вашего правительства! Упраздните войну, уничтожьте армию – к чему тогда эта громадная машина? Народу пахарей и работников ни на что не нужна административная опека; всякий живёт на свой страх и думает только о себе. Для такой толпы достаточно одной свободы, чтобы вести мещанским манером общественные дела. Централизация, армия, война исторгают отдельную личность из этой узкой жизни и заменяют любовь к благосостоянию и эгоизм домашнего очага тем патриотизмом, благодаря которому целый народ живёт мыслью одного человека. Может ли быть что-либо благороднее нации, идущей на заклание ради величия своего государя?

Вот, государь, что моё усердие вынуждает меня доложить вашему величеству. В теории нет ничего прекраснее всеобщего

мира; на деле это – рождение нового общества, это гибель старой системы. Верхом на коне и с мечом в руке ваши предки основали свою державу; они войною поддерживали и расширяли своё господство, как внутри государства, так и за его пределами. Их дело довершено; ваше величество не можете его уничтожить; осмелюсь даже сказать, не имеете на то права. Армия – правая рука монарха; король силён только мечом; если он себя обезоруживает, он отрекается от престола.

– Любезный граф, – ответил Гиацинт решительным тоном, – я ценю ваше усердие и вашу преданность. Дня три тому назад ваши слова могли бы меня ослепить; вид этого окровавленного поля раскрыл мне глаза. Меня страшит, а не пленяет то могущество, которым я располагаю. Если старая правительственная машина должна пасть вместе с армией, пусть падёт как можно скорее. На что мне централизация? Это просто общее порабощение, от которо-

го король страдает вместе с подданными. Будь что будет, я решился. Я предпочитаю быть первым должностным лицом свободного народа, чем далай-ламою администрации.

– Государь, – закричал Пиборнь, – позвольте мне заимствовать у вашего величества эти высокие слова, и речь моя готова. Палата моя! Долой эту отжившую систему, которая отдаёт целый народ на жертву пагубным страстям, преступным прихотям и припадкам плачевного безрассудства. Прошло время суровой централизации. Новый день встаёт над лучшим миром. Уже не силой и молчанием правят государи, а разумом и преданностью. Будем гордиться тем, что над нами господствует король, у которого мудрость опережает года, который понимает требования цивилизации и который (заимствую у него самого эти незабвенные слова) предпочитает быть первым должностным лицом свободного народа, чем далай-ламой администрации.

– Кавалер, – сказал Туш-а-Ту, – вы забываете вашу горловую болезнь. Вы опять занеможете.

– Благодарю вас за ваше участие к моему здоровью, – отвечал невинный Пиборнь, – но мне кажется, любезный мой товарищ, что в настоящую минуту мне полезно говорить.

Граф бросил на него презрительный взгляд и обратился к Гиацинту.

– Государь, – сказал он, – позвольте мне высказать последнее размышление. Затем я затворюсь в почтительном молчании. Чтобы составить счастье вашего народа, вашему величеству угодно великодушно отречься от славного наследия, завещанного вам вашими предками. Я восхищаюсь благородством такого самоотвержения, я сомневаюсь в его полезности. Я боюсь, что опыт покажет королю, каким образом слабость администрации оказывается ещё более губительной для блага подданных, чем

для величия государя. Есть нации, созданные для самоуправления; у них дух, нравы, привычки – всё приноровлено к свободе. Другие нации созданы, чтобы ими управляли, и эти нации, тем не менее, занимают в мире видные места. Ротозеи – не народ, это армия; у них все добродетели и все пороки солдата. Храбрые, великодушные, сообразительные, но подвижные, насмешливые и тщеславные, они никогда не помирятся с однообразием правильной жизни, Им нравится опасность, риск, счастье, завоёванное в один день чудесами храбрости, ума или низости. Герои-солдаты, никуда негодные граждане, мятежники или лакеи, такие люди могут быть только беспорядочной толпой, если железная рука не дисциплинирует их и не ведёт их, при звуках военной музыки, к славленной цели. С энергичным вождём эта нация способна на всё; предоставленная самой себе, она подвергнется разложению. Для Ротозеев свобода просто бешеный разгул всех страстей, царство наглости и ко-

рыстолюбия; её последнее слово – анархия.

– Любезный граф, – сказал король, – вы жестоки к моему бедному народу; я о нём лучшего мнения; я думаю, что я и народ, мы оба были дурно воспитаны; мы вместе переделаем наше воспитание; я буду с ним доверчив, и я надеюсь, что он воздаст мне любовью за любовь.

– Нет, государь, я его знаю, он примет вашу доброту за слабость, он ответит дерзостью и презрением. Эта норовистая лошадь начинает бить, как только ей отпускают поводья.

– Государь, – сказал Пиборнь, изучавший лицо юного монарха, – позвольте мне протестовать против этого обвинения. Не так мы суетны и не так неблагодарны, как про нас славу пускают. Нами управляли всегда посредством наших недостатков; нашим порокам льстили, чтобы их эксплуатировать; пусть попробуют управлять нами,

действуя на наши достоинства; тогда видно будет, на что способен этот народ, легкомысленный только потому, что с ним обращаются, как с ребёнком. Дайте ему свободу, он привяжется к труду, будет любить своего государя, и как он был первым на войне, так он будет первым в мире.

– Уж не отрывок ли это из вашей будущей речи? – спросил Туш-а-Ту. – Вам как будто подложили совсем не ваши бумаги.

Пиборнь лукаво посмотрел на графа и ничего не отвечал. Он был таким великим адвокатом, что в случае надобности умел даже молчать.

После непродолжительной паузы граф развязно поднял голову.

– Государь, – сказал он, – я еду через час готовить возвращение вашего величества в ваши владения. Вот список понесённых нами потерь. Три тысячи убитых, двенадцать тысяч раненых. Какую цифру поставить в «Официальной истине»?

– А почему же Официальная истина не может просто сказать правду? – спросил Гиацинт, изумлённый этим вопросом.

– Так никогда не делалось, государь. Вот ещё эта новость тоже всех перепугает. Принято вчетверо уменьшать наши потери и учетверять урон неприятеля. Ротозеи привыкли к этой арифметике. Скажете им правду – они не поверят.

– В этом отношении тоже надо переделывать воспитание, – сказал король. – Начнём с нынешнего дня.

– Прежде чем я откланяюсь вашему величеству, – снова заговорил граф, – я попрошу вас подписать эту бумагу. Это заём в двести миллионов для покрытия экстраординарных расходов достопамятного Неседадского дела.

– Пятнадцать тысяч человек вон из строя! Двести миллионов брошено на ветер! – воскликнул Гиацинт.

– Государь, – сказал Туш-а-Ту, – что же это в сравнении с тою славою, которую стяжало ваше величество?

– Увы, – промолвил король, – что такое слава в виду такой громадной траты крови и золота! Дайте, граф, я подпишу. Да ведь вы говорили двести миллионов, а тут, я вижу, заём в двести двадцать.

– Да, государь, десять миллионов банкирам и десять миллионов на те праздники, которыми Ротозеи будут встречать и приветствовать своего победоносного короля. Это их доля славы, с ними в этом нельзя торговаться.

– Упаси Боже, чтоб я стал мешать радости моего народа! Я буду гордиться теми знаками сочувствия, которые достанутся на долю нашим храбрым солдатам. Но мне кажется, нашим подданным было бы приятнее самим организовать те праздники, которыми нас будут чествовать. Разве ж

они не способны сами расходовать свои деньги?

– Само собой разумеется, государь, – ответил граф. – Уже века прошли с тех пор, как Ротозеи вручили правительству заботы о своих удовольствиях и печалях. Общественная радость или общественное горе – всё устраивается административным порядком. Что случилось бы с властью, если бы своенравный народ отказывался горевать или веселиться, когда государство облакается в траур или ликует? На что могут пожаловаться Ротозеи? Они платят и ни о чём не тревожатся; развлечения и праздники достаются им готовые. Можно ли вообразить себе более счастливое положение? Точно король среди своих управляющих.

Гиацинт со вздохом подписал и вышел из комнаты. Пиборнь пошёл за ним и стал ему доказывать в длинной речи, что для новой политики требуются новые люди, что царство свободы есть господство красноречия и что первым министром конституционного

короля непременно должен быть адвокат. Король не перебивал и не слушал его; он думал о мёртвых, о раненых и, сказать по правде, думал также более, чем ему самому хотелось, о том удовольствии, с которым он увидит прелестную Тамарису.

Туш-а-Ту был разъярён; слабость короля его тревожила, вероломство Пиборня приводило его в негодование. Как! Это вековое здание, которое он с своей стороны поддерживал тридцатилетним трудом, должно было рухнуть от дыхания ребёнка! Наследие первого министра должно было попасть в руки болтуна, игравшего словами! Нет, это было невозможно.

«Нас не знают, – думал он в дороге, – не знают, что такое администрация, – Она нашла возможность обходиться без народа, сумеет со временем обходиться и без королей».

XVII.

Гиацинту, по дороге от границы королевства до дворца, в течение двухнедельного путешествия пришлось встретить бесчисленное множество deputаций, проехать под ста двадцатью триумфальными арками, получить полтораста венков и шесть тысяч букетов, пожать сорок пять тысяч рук, кланяться дамам, целовать молодых девушек, всем улыбаться и выслушать не зевая триста речей и двести комплиментов; к этому надо ещё прибавить музыку, колокола, балы и обеды.

Сначала всё шло хорошо. Гиацинт наслаждался своей популярностью, но уже на четвёртый день своего триумфального шествия фимиами довел его до одурения. К концу недели он стремился к спокойствию и к одиночеству. На девятый день только хорошее воспитание мешало ему выбросить в окошко людей, произносивших речи. На десятый он чувствовал свирепое и по-

стоянно возрастающее желание наделать депутациям всевозможные неприятности.

К счастью для Гиацинта, при нём находился неотлучно весёлый Пиборнь, который постоянно то взглядом, то жестом, то словом так хорошо ободрял ораторов, что они большею частью становились – в тупик, к немалому удовольствию короля. Но наконец, Гиацинту надоело даже, и смеяться над депутациями и их предводителями.

Однако юный король остался до конца верен требованиям этикета, и вступление в столицу, в милый город Утеху-на-Золоте, совершилось со всею подобающею торжественностью.

Обняв свою мать со слезами сыновней радости, Гиацинт побежал переодеться, надел самый изящный из своих мундиров и собрался идти к Тамарисе предлагать ей руку и сердце.

В ту минуту, когда он с некоторым удовольствием смотрелся в зеркало, камергер доложил ему, что его ожидают сто две депутации. Гиацинт вышел к ним, проклиная их в душе, и предводитель первой депутации, барон Плёрар, начал воинственную речь.

Гиацинт не дал ему договорить и перебил его тем решительно высказанным заявлением, что он, король, на будущее время желает для своего доброго народа только мира, спокойствия и успешного труда.

Эти миролюбивые слова поставили всех ораторов в затруднительное положение, потому что у всех были приготовлены самые воинственные речи. Одни, подогладивее, запели экспромтом более или менее однообразные гимны в честь мира; другие, не способные импровизировать, улыбаясь, прочитали свои дифирамбы, выпуская слишком кроважанные выходки или смягчая их приятными интонациями голоса, Но один из ораторов, синдик цеха шапочни-

ков, совсем не принял к сведению слов короля и заговорил с яростным воодушевлением старого солдата.

«Государь, – сказал он, – мы, простые добрые люди, ничего не смыслим в дипломатических тонкостях. Есть у нас наш здравый смысл, да над ним, жаль, смеются учёные умники. По-нашему так: коли оса жужжит, надо её раздавить, а как волк завоет, ему сейчас четыре пули в брюхо. Мы уже пятьсот лет дерёмся с Остолопами, пора покончить с этими гадами. Дело давно было бы сделано, кабы не слушали газетных писак и адвокатов. Государь, довершите святое дело. Даруйте нам прочный мир, истребите последнего из наших врагов. Мы непобедимы. Когда нас били, значит – была измена. Нынче нам нечего бояться: средства наши неистощимы, солдаты закалены, чего же мы медлим? Эти презренные Остолопы смеют говорить, что из них один справится с шестерыми Ротозеями; история обличает бессмысленность

этого хвастовства: один Ротозей глотает зараз по десяти Остолопов – это всякому известно. Вперёд, государь! Разверните знамя победы; видно будет, найдёт ли страх...»

Аудиенция происходила в той комнате, где жили Гиацинтовы собаки; один из бульдогов, присутствовавших при этом приёме депутатий, принял на свой счёт яростные жесты последнего оратора, и когда дело дошло до страха и до его доступа в сердца Ротозеев, он вдруг с неистовым лаем бросился на бушующего синдика, который, совершенно растерявшись от ужаса, опрокинулся навзничь на руки стоявших за ним депутатов. Пример бульдога подействовал заразительно: вся стая вскочила на ноги и оглушила всех присутствующих лаем и воем.

Когда придворные с трудом уgomонили собак, так неожиданно заступившихся за Остолопов, Гиацинт любезно извинился перед депутациями и дружелюбно пожал

руку обиженному оратору, который, забыв правила этикета, бросился в объятия юного короля и расплакался от радостного волнения.

«Господа, – сказал Гиацинт, – я горд и счастлив вашим доверием. Продолжайте помогать мне вашими советами и указаниями. Если бы свобода слова была изгнанницею на земле, то она здесь нашла бы себе убежище. Первая потребность, первое право государя – знать правду. Первая обязанность подданных – высказывать её без заносчивости и без робости. Прощайте».

В тот же вечер газеты напечатали крупным шрифтом эти достопамятные слова. Но Официальной истине эти слова показались предосудительными и опасными для общественного спокойствия, и она не признала возможным сообщить их своим читателям.

XVIII.

Когда окончился приём ста двух deputаций, обер-камергер доложил о сто третьей, составленной из директоров и профессоров нормальной школы. Терпение Гиацинта было истощено, и он поручил кавалеру Пиборню принять депутацию так, чтобы на будущее время отнять у неё охоту к верно-подданническим манифестациям.

Посетителей ввели в зал. Во главе профессоров шёл директор училища, любезный и остроумный Паяцус. То был утончённый эпикурец, сомневавшийся во всём, не восхищавшийся никем и считавший себя одного умным человеком. Изысканный писатель, художественных дел мастер, *arbiter elegantiarum*, он обрабатывал легко самые серьёзные отрасли литературы. Он отделал Тацита, как проказника, и доказал в двух толстых томах, что Август спас республику, основав империю, что Калигула был даровитым финансистом,

Клавдий – глубокомысленным антиквари-
ем, Нерон – слишком чувствительным сы-
ном и непризнанным великим художником.
Его особа была не менее изящна, чем его
литературные произведения; он был раз-
душён, как римлянин времён упадка; его
можно было бы принять за юного патри-
ция, если бы он не носил золотых очков,
чёрного фрака и лакированных башмаков.

Он держал в руках бумагу и искал глаза-
ми короля, когда Пиборнь сказал ему тор-
жественно:

– Милостивый государь, извольте читать
вашу речь. Нынче наговорили столько бес-
смыслиц, что признано было необходимым
установить цензуру, дабы на будущее вре-
мя его величеству представлялись только
приветствия, достойные его августейшего
внимания.

– Разве его величество сомневается в
наших чувствах? – воскликнул Паяцус.

– Боже сохрани! – ответил адвокат. – Его
величество знает, что его верная нормаль-
ная школа всегда оставалась неизменною;
профессора преданы правительству, уче-
ники занимаются оппозицией; одни гоня-
ются за крестиком, другие – за свободой;
это в порядке вещей. Начинайте.

Паяцу с подумал, не смеются ли над ним;
но когда говорит министр, поневоле надо
слушаться. Он развернул свою бумагу и
начал твёрдым голосом:

«Государь!

Чтобы прославить достойным образом
этот великий день, требуется более авто-
ритетный голос. За отсутствием дарования,
да будет нам дозволено принести сюда на-
ше умеренное восхищение и наш сдержан-
ный энтузиазм...»

– Гм! гм! – промолвил Пиборнь, – уме-
ренное восхищение! сдержанный энтузи-
азм! это отзывается оппозицией. Во вре-
мена пленительного Нерона на этих словах

построили бы премиленькое обвиненье в оскорблении величества. Кто вам позволил умерять ваше восхищение? Как вы осмеливаетесь сдерживать ваш энтузиазм? Прошу вас объясниться.

– Ваше превосходительство, эти слова отличаются безукоризненною невинностью. Смысл их не подлежит сомнению. В настоящее время всё умеренно; это прилагательное теперь в моде. У нас умеренная наука, умеренная строгость, умеренная жизнь. Собственно говоря, нам надо было вместо слова скромный поставить новое, блестящее выражение, которое ослепило бы слушателя. Вот мы и поставили в одном месте умеренный, а в другом, для разнообразия – сдержанный.

– Понимаю; вам надо такое слово, чтобы никто его сразу в толк не взял. Это очень замысловато.

– Войдите в наше положение, ваше превосходительство. Чтобы обновить обветша-

лый язык, мы придумали новые обороты, необычайные формы. Мы превращаем существительные в глаголы, глаголы – в прилагательные, прилагательные – в существительные, и посредством этих, искусно придуманных, смелостей мы претворяем грубости просторечия в утончённый и таинственный язык. Читая нас, всякий говорит: «Вот слог нормальной школы! Только там и умеют писать таким образом».

– Продолжайте!

– Когда говорят дела, – продолжал Паяцус, – тогда прилично молчать...

– Это вы к чему же клоните? – спросил министр.

– Тут, ваше превосходительство, готовится маленькая, заключительная стрелка. Мы начинаем всегда величественною, стройно-размеренною фразою, в которой теснятся яркие, уравновешенные образы и красивые, гармонически-соглашённые слова, потом, как древний

парфянин, мы пускаем стрелу, которая проникает в тело и заставляет его вздрогнуть.

– Это – ясно. Побольше слов, поменьше мыслей. Дальше.

Паяцус поднял и округлил руку:

– Кто сей отрок, потрясающий мечом? В Скиросе ли мы? Сын ли то белокурой Фетиды, пылкий Ахиллес, ещё раз прельщённый любимцем Афины, хитроумным Одиссеем? Нет, то крестник фей, очаровательный Гиацинт, наделённый всеми дарами. У него сила, у него слава, у него пламя...

– Помилосердуйте, – перебил Пиборнь. – Вы, кажется, по-арабски заговорили, Какое пламя? Что за пламя? К чему тут пламя и где тут смысл?

– Ваше превосходительство, пламя по-нашему – значит гениальность. Теперь подошёл большой период моей речи, и я осмелюсь просить ваше превосходительство

не перебивать, потому что здесь вся прелесть таится в гармоническом движении слов, в изменчивой и беглой грации переливов. «Родиться от царственного древа, славного и прекрасного среди всех земных династий, явиться венчающим оное цветком и плодом, его украшающим, вырасти на глазах у родительницы, имеющей все нежности и все великодушия Корнелий, пренебречь с колыбели мягкими негами царственных досугов, мечтать о всех славах, стремиться ко всем великим начинаниям...»

– Извините, – сказал адвокат, вздыхая. – Сколько у вас там ещё осталось неопределённых наклонов?

– Двадцать два, господин министр, не считая заключительной стрелки.

– А что, – весело сказал адвокат, – кабы мы теперь же сразу да за стрелку.

– Ваше превосходительство, разве ж так поощряют литературу?

– Господин Паяцус, – ответил министр серьезно, – мы немедленно покажем вам, как глубоко мы интересуемся здоровою литературою. Эй, пригласите сюда одну из собак его величества.

Как сказано, так и сделано. Красивая болонка вошла в зал и обвела собрание своими умными глазами.

– Господин Паяцус, – сказал Пиборнь, – сделайте одолжение, погладьте это благородное животное. Видите, как она на вас смотрит и каким радостным ворчанием она отвечает на вашу ласку. Прекрасно. Теперь поднимите собаку за кожу; она рычит – не беда. Поставьте её на пол, дёрните её за хвост. Да вы не бойтесь – не укусит.

– Я полагаю, милостивый государь, что нам пора удалиться, – сказал Паяцус, краснея до ушей.

– Нет, милостивый государь, сначала выведем нравоучение из этой небольшой сцены. Вы слышали речи этой болонки: уа,

уа, уак? Одно слово с двумя различными ударениями выражает у неё всё. Горе, удовольствие, радость, боль, любовь, сожаление, благодарность, ярость – она всё выражает видоизменениями одного звука, А вы, располагая сорока тысячами слов языка, – вы бедны среди этого богатства, Чтобы выразить самую простую мысль, вам надо коверкать глагол, уродовать прилагательное, припрягать по два эпитета к каждому существительному. Говорите, как все говорят, милостивый государь, и не считайте себя великим человеком, потому что ставите во множественном числе слово, которому следует оставаться в единственном. Вся ваша трескотня выставляет только на вид нищенскую бедность вашей речи, или ваших речей. Вы старайтесь, чтоб у вас были мысли, а слова придут сами собой, и чем они будут проще, тем лучше, Правда как статуя: чем она меньше прикрыта, тем более она прекрасна. Покрывать её украшениями – значит, обращаться с нею, как с

продажною женщиною, значит, бесчестить её.

– Аристотель всё это давно нам объявил,
– дерзким тоном отвечал Паяцус. – Мы не виноваты, коли язык обветшал. Слова, износившиеся от времени, сделались как бы стёртыми медалями...

– Всё-таки не резон заменять их фальшивою монетою. Прощайте, господин Паяцус, я дарю эту прекрасную болонку подведомственному вам училищу. Назначьте её репетитором по части языка и словесности. Она может на этом месте принести существенную пользу.

Паяцус удалился с яростью в душе. К довершению его отчаяния, болонку в тот же день вечером перевезли в училище, и она с тех пор стала величественно прогуливаться по коридорам и аудиториям, к немалому удовольствию студентов, которым, конечно, вся история приёма депутации

тотчас сделалась известною во всех своих мельчайших подробностях.

XIX.

Поручив Пиборню принять и спровадить профессоров нормальной школы, Гиацинт быстро пошёл в тот флигель дворца, где помещалось министерство и квартира графа Туш-а-Ту. Он был уже в гостиной, он уже слышал за дверью шорох шёлкового платья, он узнавал лёгкую и смелую походку Тамарисы, как вдруг совершилось ещё раз ужасное превращение: блестящий юноша сделался прекрасным белым пуделем.

Он пустился бежать, сунулся в первую попавшуюся отворённую дверь, очутился в будуаре Тамарисы и забился под диван.

Вошла Тамариса, заговорила со своею любимую горничною Жонкиль, и Гиацинт узнал из её слов, что Тамариса, не чувствуя к нему ни малейшей нежности, хладно-

кровно собирается вскружить ему голову, чтобы сделаться королевой.

Левретка Жонкили, Мирза, также находившаяся в будуаре, скоро открыла присутствие незнакомца, и отправившись к нему под диван, стала на него рычать. Гиацинт, боясь неприятной огласки и угадывая, что за рычанием последует громкий лай, кинулся на Мирзу и схватил её зубами за горло, стараясь и надеясь сразу задушить её. Это ему не удалось. Мирза вся в крови с воем выскочила из-под дивана. Женщины переполошились. В эту минуту вошёл граф Туш-а-Ту, и дочь тотчас сделала ему выговор за то, что он не сумел провести декрет об уничтожении бродячих собак и таким образом сделал возможным несчастье, обрушившееся на Мирзу и огорчившее Жонкиль.

– Выходи замуж за короля, – ответил Туш-а-Ту, – всё пойдёт иначе. Я сам по себе сумел заставить его объявить войну против его воли, а с твоею помощью дело,

разумеется, на этом не остановится: ручаюсь тебе, что он во всём будет делать по-нашему.

Затем, узнав, что Мирза укушена тут же в будуаре, граф обнажил шпагу, стал шарить ею под диваном, притиснул Гиацинта к стене и приколол его.

– Один из приятелей короля! – сказал Туш-а-Ту, нанося ему удар. – Я бы с удовольствием доконал бы точно так же и покровителя этой дрянной собаки.

Жестоко раненный, Гиацинт выскочил в окно и без чувств упал на мостовую.

XX.

Истекая кровью, пудель очнулся, на коленях у Жирофле и увидел возле себя Арлекина, который, найдя его на улице, притащил его к себе на двор. Тут Гиацинт понял, что доброта дороже всего на свете, и, поняв это, в ту же минуту превратился снова в человека.

Явилась фея дня, брызнула в него водою, мгновенно залечила его раны, объявила ему, что испытания его теперь окончились, и предложила ему тотчас спешить во дворец. Гиацинт захотел взять с собою Арлекина, и стал сулить ему чины, места, богатство и всякие почести.

– Спасибо, молодчик, – ответил Арлекин, которому фея позволила на минуту говорить человеческим языком, – у тебя доброе сердце, это мне приятно; благодарю вас, сударыня фея, вам жалко старого бродягу; оно и видно, что вы не простая женщина.



Только мне ничего не нужно; ничего я не хочу. Собакой я родился, собакой хочу умереть. Мне сделаться человеком? Быть злым, лживым, коварным, своекорыстным, как это подлое отродье? Никогда.

– Так ты меня не любишь? – печально спросил Гиацинт.

– Малютка, – ответил бульдог, – ты слишком молод, чтобы понимать меня. Кто стар, как я, кого обманывали, как меня, тот ещё способен любить, но не способен верить любви другого. Тебе шестнадцать лет, ты красив, ты добр, свет тебе принадлежит, иди, куда зовёт тебя судьба. Мне больше нечего ни желать, ни бояться, я видел самую суть жизни, мне остаётся только умереть. Мне и на собак надоело лаять; что ж бы это было, кабы надо было лаять и на людей? Не старайся отнимать у меня спокойствие и свободу, в них всё моё достояние.

После напрасных усилий переубедить Арлекина Гиацинт отправился вместе с феей во дворец. Тотчас после их ухода пришёл отец Жирофле, а вслед за ним Лелу. Жирофле объявила им обоим, что она выходит замуж за Нарцисса и что их счастье упрочено благодаря тому пуделю, который спрятался от преследований Лелу под нарциссову будку. Они ей не поверили и сели ужинать. Во время ужина приехал курьер из дворца и привёз отцу Жирофле письмо от короля, а самой Жирофле богатый денежный подарок от королевы. Из письма кузнец Лапуэнт узнал, что он назначен швейцаром во дворец, и что король просит руки его дочери для Нарцисса, получившего место секретаря при ведомстве прошений.

Со стороны Лапуэнта последовало немедленное согласие.

XXI.

Воротившись во дворец, Гиацинт вместе с вдовствующею королевою явился в бальный зал, где уже было в полном сборе лучшее общество Ротозейской столицы. Тамариса сначала попробовала подействовать на молодого короля взглядами и улыбками; потом, когда эти манёвры остались бессильными, сама первая подошла к нему и заговорила о радости скромной верноподданной. Король не сказал ни слова, а королева отвечала милостиво, но холодно. Тамариса стала кокетничать с одним богатым маркизом, чтобы возбудить ревность Гиацинта, но и это не подействовало. Тогда она ушла к себе домой и с досады разбранила своего отца.

Проводив раздражённую дочь, Туш-а-Ту воротился в бальный зал и отыскивал глазами своего друга Пиборня.

– Любезный товарищ, – сказал он ему, – можете вы уделить мне минуту внимания?

– С удовольствием, – ответил адвокат, – но, между нами будь сказано, любезный друг, вы уж чересчур ретивы на общественные дела.хлопоты и без того скоро придут. Отчего не наслаждаться жизнью, когда она праздник, вот как сегодня вечером.

Граф не отвечал. Он привёл адвоката в отдалённую комнату, запер дверь на ключ и посмотрел Пиборню прямо в глаза:

– Помните ли вы, – спросил он, – ваше обещание всего месяц тому назад, когда король уехал на войну?

– Это допрос, – сказал адвокат. – В чём меня обвиняют?

– Отвечайте серьёзно, прошу вас, – сказал Туш-а-Ту, – Дело идёт о вашей карьере и о моей.

– Будто? – ответил Пиборнь. – Ну, милейший мой судья, я помню совершенно отчётливо, что, желая сохранить моё место, находившееся в ваших руках, я обещал вам во всём и везде с вами соглашаться.

– И вы сдержали слово?

– Ещё бы.

– Какими же это судьбами я вас встречаю заодно с королём против меня?

– Позвольте, – сказал Пиборнь, – когда я вам обещал всегда с вами соглашаться, это значило, что я обязывался вас поддерживать против всех министров в настоящем и в будущем. Мы с вами заключили наступательный и оборонительный союз. Но я никогда не соглашался действовать с вами заодно против короля. Это был бы не только договор, не имеющий сам по себе никакой обязательной силы, а тут была бы просто государственная измена.

– Да, – сказал граф, – у вашего брата адвокатов всегда под руками такие законы, по милости которых можно нарушать требования чести.

– Уж и браниться? – спокойно возразил Пиборнь. – С какой стати? Говорите, что вам нужно. Выкладывайте карты на стол.

– Я хотел напомнить вам ваше обещание, – сказал Туш-а-Ту, – раз как вы от него отрекаетесь, мне больше не о чём с вами разговаривать. Завтра я попрошу короля выбрать одно из двух: вашу политику или мою.

– Вы хотите сказать, вашу политику или его! – воскликнул Пиборнь. – Ведь я, вы знаете, не имею ни малейшей претензии править государством. Я защищаю идеи короля; в этом всё моё честолюбие и вся моя заслуга.

– Прекрасно, милостивый государь, – сухо сказал граф, – продолжайте вашу доблестную службу. Сегодня называйте во

всеуслышание белое чёрным; завтра, при изменившихся обстоятельствах, говорите другим языком, представляйте чёрное белым. Пока вы будете в силе, у вас всегда найдутся подкупные хлопальщики; но когда вы извратите народный ум, когда вы уничтожите всякую любовь к истине, всякое чувство справедливости – наступит день возмездия, и вы узнаете, к вашему стыду и горю, что нельзя безнаказанно глумиться над человеческою совестью. Этот народ, которого вы не уважали, в свою очередь будет вас презирать. Его инстинкт скажет ему, что ниже продажной женщины падает тот, кто протитутитует свою душу и превращает ложь в ремесло.

– Могу сказать! Славную вы мне проповедь читаете! – закричал адвокат, красный как рак. – И с какого права вы со мною принимаете такой тон, когда именно вы растлевате и притупляете этот народ? Когда я говорю – я вызываю ответ, я не увертываюсь от сражения; всё происходит сре-

ди бела дня, при равном оружии. Но вы с вашими агентами, вы крадётесь в потёмках, гасите всякий свет, душите всякий голос, разливаете кругом себя молчание и смерть. Красноречие вам подозрительно, талант вас стесняет, самостоятельности вы боитесь. Против вас все просвещённые умы, все честные характеры. Это вы знаете, и ваша политика сводится на удушение. Чтобы успокоить вашу посредственность, жизнь должна остановиться, и всё должно замёрзнуть навек в узких рамках вашего невежества и ваших предрассудков. Монастырь или казарма – вот ваш идеал! И благо бы вы ещё умели отдавать себе справедливость! Но с узкостью (узостью) ваших замыслов сопряжена самая смешная из претензий – претензия неподвижности. Всё предвидеть, всё знать, всё устанавливать – вот скромные стремления этой непогрешимой церкви, которая не терпит возражений. Люди, не способные вырастить колос ржи, присваивают себе право заведовать умом, совестью, деятельностью, имущест-

вом, жизнью целого народа. Ничего не делать и всему мешать – это их назначение; должно признаться; им это удаётся слишком хорошо. Дайте им нацию подвижную и доверчивую – меньше чем в столетие они её забавляют, усыпят и задушат. Славное завоевание! И как вам пристало оскорблять тех, кто говорит, вам, евнухам сераля!

– Милостивый государь, – закричал граф, – знаете ли вы, что говорят нахалам?

– Нет, милостивый государь, но я знаю, чем им отвечают.

– Хорошо, милостивый государь, завтра вы мне дадите отчёт в ваших словах.

– Как вам будет угодно, любезный мой товарищ, – ответил Пиборнь, пожимая плечами. – Если вы находите, что мы ещё недостаточно смешны, будем драться; но вы знайте то, что адвоката легче убить, чем заставить молчать. За сим, моё вам почтение.

На другой день этот разговор, происходивший без свидетелей, был баснею всего города. Ротозеи утверждают, что женщины болтливы; но, по мнению некоторых наблюдателей, они сочинили эту клевету, чтобы распуścić славу о своей собственной сдержанности. На деле бывает так, что когда Ротозей доверяет государственную тайну сослуживцу или соседу, то последний считает своим священнейшим и самым неотложным долгом сообщить эту великую тайну своим друзьям и знакомым, настоятельно упрасывая их никому не говорить ни слова, вследствие чего известие в тот же вечер появляется во всех газетах.

Слухи не ограничились подробностями ссоры, возгоревшейся между обоими министрами, К этому прибавляли, что в присутствии короля распря вспыхнула с новою силою; король был принуждён наложить печать молчания на уста своих советников, забывавшихся в его присутствии. Естественным образом публика ожидала офици-

ального опровержения, которым подтвердилась бы верность этих слухов; но, ко всеобщему изумлению, в правительственной газете появилось известие, что граф Туш-а-Ту подал в отставку и что кавалер Пиборнь получает новое назначение. Тут мудрецы стали качать головами и заговорили, что приближается светопреставление; честолюбцы забегали по салонам, тунеядцы заболтали, биржевые игроки потяряли головы.

Невозможно было ошибиться. Приблизилась великая политическая смена актёров и декораций.

XXII. ВОЛШЕБНЫЙ ФОНАРЬ.

Выйдя из совета, в котором Туш-а-Ту и Пиборнь взаимно упрекали друг друга в том, что они ведут к бездне короля и монархию, Гиацинт, очень озабоченный, поспешно пригласил к себе на помощь фею дня. Чуть только он её завидел:

– Благодетельница, – закричал он, – спасите меня, спасите мой народ! Составьте нам конституцию.

– Дитя моё, – сказала фея, – это для меня тарабарская грамота. Мы, феи, живём в старомодном мире, наше дело беречь маленьких принцев да выдавать замуж молодых принцесс. Что я смыслю в политике? Я стараюсь только доставить людям побольше счастья.

– Покровительница, если я не найду такую конституцию, которая осчастливит мой народ, я погиб.

– Дитя моё, хочешь, я тебя поведу в царство попугаев, где все говорят, чтоб ничего не сказать? Или в царство гусей, где каждый чванится своим умом? Или в царство чижей, где всякий гордится тем, что он чиж?

– Нет, нет, голубушка, не того мне надо.

– Попробуем как-нибудь иначе, милый. Посмотрим, что бы нам придумать.

Фея отворила окно и позвала ласточку, гонявшуюся за мошками.

– Милая, – спросила она, – счастлива ли ты?

– Да, – весело чирикнула ласточка.

– Почему ты счастлива?

– Потому что свободна, – ответила птичка.

И умчалась вихрем.

Фея ещё раз выглянула из окошка и подозвала пчелу, суевившуюся на ветке жимолости.

– Милая, – спросила она, – счастлива ли ты?

– Да, – прожужжала крошка.

– Почему ты счастлива?

– Потому что работаю с утра до вечера.

– Кто направляет твою работу? – спросил Гиацинт.

– Сама, – ответила пчела, – Всё делаю по-своему, так на что ж мне начальство?

С этими словами она улетела.

– Дай мне руку, – сказала фея Гиацинту.

В одно мгновение они очутились среди полей.

Там было стадо баранов. Пастух спал. Собака сторожила.

– Ты счастлив? – спросила фея у толстого барана, усердно щипавшего траву.

– Как же я буду счастлив? – ответил баран, – Целый Божий день то кусают, то бьют. Завтра будут стричь либо отошлют на бойню. Чтобы быть счастливым, надо самому себе господином быть.

– Однако, – сказал Гиацинт, – ведь вот ты же ешь, жиреешь, спишь?

– Моя такая судьба, – сказал баран, – что меня съедят либо волки, либо люди. Всего умнее об этом не думать.

Он забил голову в траву и стал жевать ещё усерднее, чтобы наверстать потерянное время.

– Дитя моё, – сказала фея, – наше дело как будто подвигается. Быть свободным, работать, быть самому себе господином – это счастье. Ты поставь это у себя в конституции.

– Матушка, – сказал Гиацинт, – свобода доставляет счастье скотам. От людей так дёшево не отделаешься. У них разум есть.

– Значит, – возразила фея, – они со всем своим разумом глупее скотов.

– Матушка, – сказал Гиацинт, – мне бы посоветоваться с каким-нибудь древним мудрецом. Ах! кабы мне Аристотеля повидать!

– Мой кум Аристотель не откажется прийти, – сказала фея, очерчивая в воздухе круги. – Я с ним давно знакома. И шашни его все нам доподлинно известны.

– Матушка, ведь он философ!

– Ничего, что философ, дитя моё. Всё такой же человек. Философы-то иной раз ещё хуже чудят.

Пока она говорила, из земли выходил пар, который постепенно принимал человеческий образ. Гиацинт вдруг увидел перед собою рослого мужчину с приятным лицом, в изящной греческой мантии.

– Здравствуйте, любезная сестра, – сказал философ, целуя руку феи. – Я был за сто миль отсюда, подшучивал над красавцем Платоном. Всё такой же мечтатель! Я услышал ваш призыв и явился. Чем могу служить?

– Любезный кум, вот молодой король просит у вас конституцию для своего народа.

– К чему? – сказал Аристотель. – Коли он всех красивее, всех сильнее, всех учёнее, всех умней и всех искусней, коли он всегда прав, коли он никогда не ошибается – пусть правит один. По этим верным приме-

там всякий признает его вождём и царём. В противном случае, пусть предоставит своим подданным управляться, как они сами хотят, и пусть не навязывается в руководители тем, кто лучше и умнее его самого.

– Господин Аристотель, – сказал Гиацинт, – задача не так проста, как вы предполагаете. Мои подданные хотят, чтобы я их осчастливил, а я не знаю, как за это взяться.

– Они варвары или греки? – спросил философ.

– Ни варвары, ни греки, – ответил король. – Они Ротозеи.

– Юноша, ты меня не понимаешь, – сказал Аристотель, – На свете существуют только две политические расы. Одна призвана повиноваться – это варвары. Другая способна к самоуправлению – это греки, или другими словами, цивилизованные народы.

– Как же их распознают? – спросила фея.

– У варваров, – сказал философ, – повелевает человек, у цивилизованных народов – закон. Первые покорны, как рабы, прихоти господина; вторые повинуются законам, которые сами они установили.

– Увы! – вздохнул Гиацинт, – Я крепко боюсь, чтобы Ротозеи не оказались варварами. Не подлежит сомнению, что они не сами управляют собою, и что у них люди сильнее законов.

– Всякий гражданин у них воин? – спросил Аристотель.

– Нет, есть постоянная армия.

– Это варвары, – сказал философ, – Они назначают своих правителей путём народных выборов и на определённое время?

– Нет, – ответил Гиацинт.

– Дважды варвары, – сказал философ. – Сами судят уголовные дела?

– Нет, – промолвил Гиацинт.

– Трижды варвары, – продолжал философ. – Собираются свободно для занятий общественными делами? Имеют право каждое утро критиковать действия всех своих правителей?

– Не всегда, – сказал Гиацинт.

– Четырежды варвары, – продолжал философ. – Есть общее образование, сглаживающее всякое различие в состоянии и в рождении?

– Нет, – ответил Гиацинт.

– Так из-за чего же ты меня тревожил, юноша? – сказал мудрец, нахмуривая брови. – Управляй наподобие великого царя персидского; веди под посохом твоим это стадо баранов; строй дворцы, веди войны, предавайся всем страстям твоего сердца, но не задумывайся над тем, как управлять людьми: их нет в твоей державе.

С этими словами он исчез, как дым, разнесённый ветром.

– Матушка, – сказал король, – напрасно я вас просил вызвать этого грека; он понятия не имеет об условиях новой жизни. Мне теперь ещё тяжелее, чем было до разговора с ним.

– Пстой, крестник, – сказала фея. – Вон там я вижу старого знакомого. С ним лучше столкнемся. Эй, – крикнула она, – господин Агасфер, подите-ка сюда. Нам требуются ваша опытность и ваши советы.

На призыв феи подбежал старик в лохмотьях с большою палкою в руке. Его костюм не принадлежал никакой стране. Его пожелтевшее лицо было изборождено глубокими морщинами, белая борода покрывала ему грудь, глаза у него горели, как раскалённые угли. То был вечный жид. Гиацинт тотчас узнал эту знаменитую личность, которой портреты рассеяны повсюду.

– Идём, – сказал странник, – я не могу останавливаться; будем говорить на ходу. Вам чего надо?

– Господин Агасфер, – сказал Гиацинт, – вы столько видали; скажите мне, какие народы всех счастливее?

– Не знаю, – ответил старик. – такому несчастному, как я, что мне за дело до чужого счастья? Впрочем, коли хочешь, я тебе, пожалуй, скажу, как народы живут и как умирают. Их столько родилось, выросло и сгибло на моих глазах!

– Говорите, дедушка, я вас слушаю.

– Сын мой, – начал Агасфер, – одна вещь составляет величие народов – свобода; одна вещь их губит – опека. Слушай и запомни мои наставления.

«Когда я вышел из Иерусалима, осуждённый на казнь вечного скитания, я оставил за собой горсть евреев, учеников того, над кем в безумии моём я поглумился.

То была вся христианская церковь, Я побежал в Рим, владыку мира; я дивился там величию языческих императоров, державших землю в руках своих. Всё им принадлежало – пространство и время; ни одного не было римлянина, кто не был бы уверен в вечности римского могущества; побеждённые думали то же, что и победители.

Во время царствования Коммода я воротился в Вечный Город. Какая перемена совершилась в полтора века! Траян, Адриан, Антонин, Марк Аврелий, эти великие администраторы, эти отцы-государи, покрыли мир дорогами и памятниками. Они ускорили только падение. Империя разрушалась вследствие самых совершенств своего правительственного механизма; управлявшие и получавшие плату превзошли числом управляемых и плативших. Народ повсеместно был голоден, заморён, при последнем издыхании. Жили только гонимые христиане, усиливавшиеся действием свободы, Жили также те прирейские (прирейнские)

племена, которых долго презирали и которые теперь бросались на империю, как стая собак на затравленного оленя...

Захотелось мне взглянуть на этих варваров. Расписанные, голые или едва прикрытые звериными кожами, они были ужасны; они с утра до вечера пьянствовали, играли или спали в своих дымных берлогах, от них воняло чесноком и салом; но у этих дикарей не было господ; каждая семья управлялась сама собою, каждая шайка сама выбирала себе вождя, каждый германец дрался за своё племя – этого было достаточно, чтобы сделать этих людей непобедимыми. Рим напрасно выдвигал против них своё золото и своих наёмников; они сожрали империю кусок за куском.

Я убежал на восток, пришёл в Китай, увидел, как отеческое правительство превращает народ в стадо. Душить всякую общественную жизнь, уничтожать всякий коллективный интерес, поощрять все похоти, потакать эгоизму – вот китайская поли-

тика; она произвела народ без отчизны и империю без граждан. Мне опротивела эта выродившаяся цивилизация, я перешёл в Америку задолго до того времени, когда какой-либо европеец имел понятие о существовании этого обширного материка. В Мексике, в Перу я нашёл большие монархии и порабощённые народы; то был Китай под другим названием.

Судьба привела меня в Европу после крестовых походов; христиане и германцы свершили своё дело. Земля была разделена на множество самостоятельных владений. Города, обнесённые стенами, управлялись и защищались сами. Церковь, университет составляли сильные и уважаемые корпорации. На поверхности не было ничего кроме неравенства и неурядицы; но под этою оболочкою, несмотря на бесчисленное множество насилий и преступлений, свобода действовала как могучий фермент: народы жили, Генуя и Венеция покрывали море своими кораблями и строили свои

дворцы, галереи, церкви; Флоренция воскрешала Афины; Фландрия воздвигала свои башни, а Нормандия свои соборы. Парижский университет был центром просвещения. Вся Европа стекалась слушать этих профессоров, которых смелость ничем не стеснялась; церковь, всегда на бреши, говорила, писала, учила. Она защищала народ от тирании вельмож. Везде искусство, поэзия, наука, богатство рождались вместе со свободой. Я подивился этому расцветанию нового мира, и потом неумолимая рука отправила меня в Индию. Тут я снова нашёл вечную дряхлость восточных народов, осуждённых раболепствовать, и мечтать под гнётом наследственного деспотизма.

Людовик XIV стоял на вершине своего могущества, когда меня снова забросило в Европу. Везде утвердились великие монархии, обширные администрации. Я увидел кругом себя тот же Восток. Обманутые государи, дерзкие губернаторы, немые народы, большие общественные работы, тяжё-

лые налоги, многочисленные армии – всё то же, на что я недавно смотрел в Азии. Везде роскошь дворов и бедность деревень, везде насильственно созданное молчание и преследование мысли. Заснувшая Германия, умирающая Италия, мёртвая Испания, истощённая Франция! Жили только две нации: Англия, только что прогнавшая своего короля; Голландия, открывшая среди своих болот убежище изгнанникам всех церквей и всех стран. Полвека бродил я по Европе; потом судьба направила меня в леса Северной Америки. Там я увидел опять свежую жизнь. Изгнанники, добровольные переселенцы, забытые или презренные метрополией, основали в лесах маленькие общества, управлявшиеся сами собою, без короля, без духовенства, без дворянства. Каждый гражданин был там – то судьёю, то солдатом, то правителем. Тут расцветала новая цивилизация – я не мог в этом ошибиться.

Такова, сын мой, история мира. Свободою растут народы, опекою кончаются. Сначала они отличаются всею пылкостью, всею неукротимостью, но также и всеми великодушными влечениями и всею живучестью молодости. Потом они становятся трусливы, расчётливы и своекорыстны, как старики. Всякого шума они боятся, даже шума мысли. Всякое движение их пугает, холод овладевает ими, приближается смерть.

Случись война, их держава разрушается, господство ускользает из их рук и переходит к тем, кто верит в будущее.

Прощай, мой сын, ты знаешь мою тайну, примени её к делу».

Не дожидаясь благодарности, жид удалился большими шагами, Гиацинт повернулся за советом к фее; та зевала во весь рот.

– Наконец-то, – вскрикнула она, – этот старый дурак покончил своё враньё. Очень

нужно было так долго доказывать, что у людей мозга не больше, чем у жаворонков, и что одним и тем же зеркалом ловят и самых глупых, и самых хитрых! Дай руку, дитя моё, у меня назначено свидание с сёстрами в Лунных горах, Я тебя возьму с собой.

В одну минуту деревья, дома, горы в глазах Гиацинта ушли далеко вниз, затем он понёсся по воздуху, и наконец громадная площадь Африки как будто выплыла из океана.

– Пстой, – сказала фея, опускаясь на землю недалеко от мыса Пальмового, – ты любишь политические опыты, так оставайся здесь, на возвратном пути я тебя захвачу.

С этими словами фея улетела, оставляя озадаченного Гиацинта, Король огляделся. Он был в маленьком, правильно выстроенном городе с широкими улицами. Все жители были чёрные. Его чужеземная фигура

привлекала на него все глаза; женщины показывали на него пальцами, дети от него бегали, собаки на него лаяли.

Гиацинт подошёл к курчавому негру, уставившему бочонки с маслом в большом магазине, и спросил у него, где он. До некоторой степени удивлённый этим вопросом, купец ответил, однако, вежливо и на хорошем английском языке, что город называется Монровиею и что он столица государства Либерии.

– Вот как вы нас видите, – прибавил он, – мы все бывшие рабы, приехали сюда из Соединённых Штатов жить на свободе. Мы надеемся основать республику, которая числом и богатством своих жителей затмит со временем Европу и Америку. Белая раса давно владеет миром; теперь чёрная требует себе своей доли наследства. Она её получит: Африка принадлежит ей.

– Ваш народ велик? – спросил Гиацинт.

– Нас всего двадцать пять тысяч цивилизованных, – ответил негр, – но мы несём с собою талисман, который позволит нам мирным путём завоевать всю Африку и поднять её в уровень с Европой.

– Это что же за талисман?

– Американская свобода, – сказал негр.

– Отчего вы не скажете: просто свобода?

– Есть два сорта свободы, – ответил чёрный купец, – одна – слово, другая – дело. Первая – крик войны и революции, опустошающий старый континент; вторая – совокупность учреждений, составляющих величие личности и счастье наций. Эту свободу мы привезли с собой из Америки, это семя мы посеяли; ему дети наши будут обязаны богатством и благополучием.

– Какие же это учреждения?

– Их семь: свободная церковь, свободная школа, свободная печать, свободный банк,

свободная община, милиция и суд присяжных. Как только приходит корабль, эмигрантам дают выбрать землю, какая им нравится; раз прикрепившись к почве, они в первый же год заводят школы учить своих детей, церкви, чтобы молиться Богу, газеты, чтобы просвещать мир, банки, чтобы облегчить труд и обмены. Вот уж зерно образовалось, община существует; это – республика, законченная сама в себе; она управляется свободно, при участии всех граждан, и если какая-нибудь опасность грозит ей извне или внутри, каждый из нас присяжный, чтобы защищать её, воин, чтобы сражаться за неё. Вот наша свобода, иностранец. Так её понимают в вашей земле?

– Вы, я вижу, Аристотеля знаете, – сказал Гиацинт.

– Аристотеля? – переспросил негр, вращая свои большие белки и почёсывая себе лоб. – Это имя неизвестно в нашем городе.

Это, должно быть, какой-нибудь новый торговый дом, без большого кредита.

– Друг мой, – ответил король, – краснея за такое невежество, – Аристотель – великий греческий философ; он две тысячи лет тому назад сказал, что гражданин должен быть и воином, и присяжным, и администратором, и что свобода слова и общее образование составляют два существенные условия свободы и цивилизации.

– По-моему, – сказал африканец, – не надо быть великим философом, чтобы видеть вещи, ясные как божий день. Пробудьте неделю в Монровии, и вам каждый мальчишка в наших школах скажет то же самое, не хуже вашего грека.

– И вы надеетесь, – заговорил Гиацинт, – что это американское семя, чистейший продукт самой развитой гражданственности, взойдёт среди вашего варварства?

– Дело сделано, – ответил негр.

– Позвольте мне в этом усомниться; свобода зависит от расы.

– Она зависит от воспитания, – сказал негр. – С тех пор, как мы к нашему чёрному племени привили американский дух, мы чувствуем себя способными к самоуправлению, так точно, как те тысячи ирландцев и немцев, которые каждый год эмигрируют в Соединённые Штаты и там перерождаются так же точно. В три поколения мы овладеем долиною Нигера; остальное – просто вопрос времени.

– Блестящая мечта, – сказал Гиацинт, – но она слишком прекрасна, чтобы осуществиться.

– Это сомнение показывает, что вы со старого материка, – ответил негр, – Вы небось как наши сенегальские соседи: те воображают, что заводят колонии, когда посылают генералов воевать с неграми, и префектов – муштровать и притеснять белых. Мы не так делаем. Наши завоеватель-

ные орудия – мир, свобода и труд. У нас община, как полипник; вырастая, она производит почку, новую общину, которая присоединяется к первой, продолжая жить своею собственною жизнью. В свою очередь эта почка производит новую клеточку, которая будет так же плодovита. Дело не останавливается никогда. Таким образом, без шума, мало-помалу, действием неслышной и неотразимой работы наш народ растёт, покрывает землю, поглощает и перерабатывает варварство. Уже более ста тысяч негров, пришедших из внутренней Африки, поступили в наши школы и там усваивают нанги идеи и нравы. Этих невежественных и жестоких звероловов мы превратили в пахарей, в ремесленников, в граждан. Будущее наше, Община изменит вид Африки, и недалёк тот день, когда, заняв место в ряду цивилизованных наций, мы все составим один народ и одну республику.

– Если не разобьётеся на тысячи кусков,
– сказал Гиацинт.

– Ещё заблуждение старого света, – спокойно сказал чёрный, – У нас, когда государство есть федерация маленьких республик, живущих каждая своею собственною жизнью, обширность государства является только лишнею гарантией общего мира и общей свободы. Где может произойти разрыв? Центр везде, окружность нигде. Америка в полном цвету, только что возникшая Австралия, Африка в своём первом зародыше говорят вам, что теперь целые материки вступают в политическую жизнь, и что старая Европа, раздробленная и порабощённая, скоро вступит в историю, как древний Восток, и сделается обломком погибшей цивилизации.

– Не думаю, – сказал Гиацинт, отчасти взволнованный этим предсказанием.

– Однако так будет, – ответил негр, – если только Европа не заимствует у нас на-

шей американской свободы и не изменит духа своих сынов. Извините, иностранец, – прибавил он, – вот солнце опускается, мне надо побывать в училищном комитете, в военном комитете и в собрании банка, Я должен с вами проститься.

– Вы один из главных чиновников страны? – сказал Гиацинт.

– Нет, – сказал негр, улыбаясь, – я просто масляный торговец и гражданин Либерии.

В ожидании феи Гиацинт гулял по улицам Монровии; он посетил порт, магазины, церкви, школы, библиотеки. К великому своему изумлению, он заметил, что негры не Ротозеи и что они от этого не хуже.

Воротившись во дворец, он сказал фее:

– Матушка, я нашёл свою конституцию и думаю, что, по вашей милости, я успею очастливить мой народ.

– Тем лучше, милое дитя моё, – ответила добрая фея. – Теперь обними меня и простимся. Ты меня больше не увидишь. Где начинается разум, там конец моему царству. Тебе даны на долю ум, сила и красота. Опыт научил тебя присоединять к этим качествам справедливость и доброту: ты теперь мужчина; иди смело вперёд; тебе придётся выдержать не одно испытание. Народы, как дети: кричат, когда их умывают. Но за тебя будут твоя совесть и чувство исполненной обязанности; это дороже тех рукоплесканий, которые пошлая или подкупленная толпа бросает всем сильным земли. От тебя одного на будущее время зависят твоё счастье и твоя слава; я тебе больше не нужна; прощай.

Гиацинт, рыдая, обнял фею и заперся в своём кабинете. В тот же вечер он написал конституцию в двенадцать параграфов; то была – не в укор будь сказано великому законодателю – просто хартия Либерии. В

сущности, то было сороковое издание конституции Соединённых Штатов.

XXIII. ПЕЧАТЬ У РОТОЗЕЕВ.

Здесь оканчивается тысяча сто тридцать третий том Летописей Ротозеев, обширной учёной коллекции, которая одна, сама по себе, наполняет историческое отделение всех больших библиотек. Чтобы закончить рассказ, мы должны обратиться к газетам.

Вот, во-первых, несколько выписок из Умеренности. Это любимая газета Ротозеев, потому что она составляет ожесточённую оппозицию:

«ГРАЖДАНЕ, БЕРЕГИТЕСЬ!

Положение дел ужасно; измена ведёт страну к гибели. При мудром и твёрдом правительстве графа Туш-а-Ту Ротозеи были ужасом своих соседей и возбуждали зависть всех наций в мире. Меж тем как армия наша приводила в трепет вселенную,

Ротозеи жили счастливые и гордые иод опекою своего великого правительства. Искусные министры снимали с них бремя тех ежедневных забот, которые их теперь удручают. Нет больше покоя этому несчастному народу, принуждённому постоянно думать о своих собственных делах. Национальная гвардия, церковь, школа, община, суд присяжных, публичные лекции, народные читальни отнимают у нас все наши досуги, Нам больше не позволяют забавляться; мы рабы свободы.

Даже женщины, грациозные создания, которым беспечность служит лучшим украшением, превращены и обезображены тою ужасною системою, которая нам навязана. Туалеты, катания по лесу, экипажи, опера, скачки, жокеи, маленькие придворные и городские скандалы, тысячи безделок, составляющих приправу элегантно́й жизни, не служат более предметом их любезных разговоров. Они рассуждают о религии, о благотворительности, о школах, о

политике: точно мужчины, Коли дать им волю, прекраснейшая половина человечества скоро делается самою скучною и печальною. Неизвестно, отчего бы не сделать их избирателями: мы ещё к тому придём. Тем временем роскошь угасает, вкус портится, искусства принимают серьёзный характер: всё приходит в упадок.

Вот куда нас привели химерические фантазии ребёнка! Вот до чего нас унижил сервилизм бездарных министров, которые, чтобы угодить барину, не боятся разрушать нашу национальную администрацию, уничтожать ту колоссальную централизацию, которая составляла славу и радость наших отцов. Нынче всякий делает, что хочет; индивидуальная тирания доводится до своих крайних пределов. Равнодушие, бессилие и низость – вот модные добродетели высших сфер; наши министры – позор и отребье цивилизации; иностранцы над ними смеются, добрые граждане их ненавидят, все честные люди их презирают.

Ах! если бы у нас была свобода печати! Но, признавая за каждым Ротозеем право основать газету, изменники знали, что делали. Под предлогом освобождения печати они её поработили, В былое время простого известия о нездоровье графа Туш-а-Ту было достаточно, чтобы взволновать всю страну; нынче мы напрасно кричим о неспособности и предательстве министров – никто нас не слушает. Всякий занят своею школой и своею общиной; никто не заботится о правительстве, от которого ему больше нечего ни бояться, ни надеяться. Погибла великая нация, нет больше Ротозеев.

Ад. Кулёр».

В том же номере помещено дальше:

«В нынешнем году будет значительный избыток доходов; его определяют во сто

миллионов с лишком. Говорят, что министры намерены употребить эту сумму на уменьшение пошлин при совершении купчих и при вписывании в реестры. Вот что называется гоняться за ложною и презренною популярностью. В былое время эту сумму употребили бы на увеличение нашей национальной армии; но все традиции чести пропали, из нас сделали народ лавочников.

Бесстыдные министры осмеливаются гордиться таким приращением доходов. Это, говорят они, доказательство, что богатство растёт вместе со свободой. Но кого тут обманывают? Разве ж не всем известно, что расходы граждан увеличиваются в ужасающей пропорции с тех пор, как государство оставляет всё на их попечении. Утверждают, что в нынешнем году они дали добровольно на школы больше двухсот миллионов; скоро бюджет народного образования поднимется выше нашего старого военного бюджета. Когда захотят драться,

где возьмут денег? Явись государственный человек у Остолопов, явись один из тех великих политиков, которые ведут народы к победе и к славе. Что с нами бует? Говорят, арсеналы наши полны, и регулярная армия в двести тысяч человек представляет достаточные кадры для помещения наших храбрых национальных гвардейцев. Твердят, что нет ни одного гражданина, кто не умел бы владеть оружием; но если это годится для защиты страны, которой, впрочем, никто и не думает угрожать, то разве ж таким образом мы можем покорить мир нашим идеям и сделать то, чтобы ни один пушечный выстрел не раздавался на земном шаре без нашего соизволения. Одно слово характеризует теперешнее положение дел: поругание, поругание, поругание!

Ад. Кулёр.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Два слова для газет, живущих скандалами. Осмеливаются утверждать, что имя нашего главного редактора ненастоящее; под этим мнимым псевдонимом силятся угадать имя одного господина Ла-Дусера, которого называют, не краснея, отставным сторожем беглых собак. Уверяют, что мы занимаемся оппозицию по поручению одного важного лица, желающего опрокинуть правительство с тех пор, как он не стоит в его главе. Мы гнушаемся этими плоскими ругательствами и отвечаем на них одним презрением. Мы гордимся тем, что в качестве скромного солдата служили под административным знаменем графа Туш-а-Ту. Что же касается до честолюбия, приписываемого этому великому человеку, то оно ограничивается только страстным желанием извлечь Ротозеев из той бездны, в которую их ввергает безрассудство нескольких мечтателей. Удивительно ли, что такой чистый патриотизм сделал графа Туш-а-Ту вождём оппозиции?»

Выписка из газеты Консерватор.

«НАМ ПИШУТ ИЗ БОРИЕВИЛЯ:

Сегодня совершилось погребение нашего достойного соотечественника, барона Жеронта Плёрара. Его смерть была внезапная. Медики говорят, что его сразил апоплексический удар; газеты, для которых нет ничего святого, упомянули о расстройстве желудка; истина та, что наш знаменитый соотечественник погиб от болезни, которую чужеземный народ назвал очень метко разбитым сердцем. Дерзновенные реформы, производящиеся в настоящую минуту, приводили в ужас достопочтенного барона, и, как выразился красноречиво на его могиле помощник борневильского мэра, "он не мог видеть без трепета, как, отрезав спасительный якорь, пустили государственный корабль по безбрежным океанам". Все честные люди трепещут вместе с ним. Рождённый в судейском семействе, вскормлённый матерью, которая, как истая

римлянка, умела только сидеть дома за пряжей, барон Плёрар с юных лет проникся теми здоровыми началами, которые он защищал до последнего дня. Он остался верен старому девизу своего дома: *Nova antiqua* – новое есть старое. По примеру своих знаменитых наставников он всегда утверждал, что прогресс – есть революция. Проникнутый здоровыми доктринами, он любил повторять, что при начале мира наши праотцы всё знали, ничему не учившись; что в течение шестидесяти веков знание и истина постоянно убывали и что настоящее средство делать успехи на пути цивилизации, это – повернуться назад. "Чем больше будешь пятиться, – говорил он, – тем дальше уйдёшь вперёд. Чтобы найти чистую волну, надо подняться к источнику, вместо того, чтобы следовать за рекою в тех долгих извилинах, где она обременяется испорченными и заразительными продуктами разложения"».

Приводим ещё одну недавно напечатанную статью из «Умеренности»:

«Мы сейчас были взволнованы в палате одним скандалом, который возмутил всю страну. Не только учреждения рушатся, но и манеры извращаются; наша старая вежливость, наш изящный вкус исчезают.

Нынче граф Туш-а-Ту превзошёл самого себя: он произнёс одну из тех речей, которые составляют эпоху в жизни наций. Он растёр в порошок те суетные софизмы, которыми обманывают слишком легковёрный народ. "Ваша свобода, – сказал он, – просто ловушка и западня. Вы сами определяете её как царство закона. Что такое закон? Непреклонное правило, прилагаемое неумолимыми исполнителями, И эти-то сложные отношения государства и граждан вы хотите подчинить мере слишком суровой даже для частных интересов? Это бе-

зумие. Вы силою вещей приходите таким образом либо к тирании, либо к анархии."

Эти слова были покрыты рукоплесканиями на скамьях оппозиции.

"Что такое администрация? – продолжал граф, – Я принимаю ваше определение: это царство человека. Вы разве не видите, что чиновники, искусные, просвещённые, снисходительные, одни в состоянии прикладывать к отдельным случаям меры, в которых нет ничего неизменного? С ними нет ничего абсолютного; абсолютное неприложимо к человеческим делам; но часто обнаруживается благосклонность и всегда справедливость. Для тех, кто не тешит себя словами, – разве ж это не настоящая свобода?"

– Проказник! – крикнул вдруг слишком знакомый голос.

При этом бранном слове вся палата поднялась как один человек и потребовала, чтобы дерзкий был призван к порядку. Шум продолжался больше четверти часа; затем виновный взошёл на трибуну. То был – мы говорим это с грустью и с отвращением – бывший товарищ графа Туш-а-Ту адвокат Пиборнь.

Он извинился перед палатой, он заверил, что не хотел оскорбить представителей страны, и объявил, что это несчастное слово у него вырвалось. "Возьмите его назад, возьмите назад!" – закричали ему со всех сторон. Такой образ действий был бы, конечно, самый благородный, но есть на свете люди, потерявшие чувство чести, Чтобы оправдаться, адвокат Пиборнь счёл своим долгом ухудшить своё положение. "В самом деле, – сказал он, – шутка графа слишком сильна. Я был в администрации, я знаю, как там делаются дела. Воспитанный в се-

рале, я знаю все его извороты. Когда гражданин чего-нибудь требует, у него не спрашивают: прав ли он? а спрашивают просто: кто его протезирует?

Всё для друзей, ничего для противников – таково правило. Для первых администрация лучше свободы – это привилегия; для других – это уродливая тирания; везде и всегда это неравенство.

Вы можете мне поверить, – прибавил он, – у меня нет никакого интереса ни защищать правительство, ни нападать на него. Король не обращался к моей преданности; он выбрал новых людей, чтобы применять новые мысли; быть может, так и следовало поступить, Во всяком случае, я на него не в претензии; я не ставлю своего честолюбия и тщеславия так высоко, чтобы стремиться к низвержению правительства потому, что я сам больше не министр. Воротившись к адвокату, где всем есть место, я простился с общественными должностями. Но как гражданин, как друг родного

края, я позволю себе заметить, что новая система идёт лучше, гораздо лучше, чем я надеялся. Повсеместно труд развивается, ассоциации множатся, просвещение распространяется; нация довольна жизнью, гордится своим юным королём. Ротозеи начинают интересоваться своими собственными делами, Этот народ, прославивший равнодушием, привязывается к своим учреждениям. Теперь ни один Ротозей не согласится променять тиранию закона на административную свободу. Подобные аргументы несерьёзны; только ради насмешки можно бросать нам в лицо эти дерзкие парадоксы".

Оппозиция ошибалась жесточайшим образом этого бессовестного ренегата, но, краснея за нашу родину, мы должны сказать, что нашлось большинство, принявшее благосклонно эти жалкие софизмы. И это большинство составлено из тех же людей, – которые в прошлом году с восторгом рукоплескали всем мерам, предлагавшимся

графом Туш-а-Ту. Это печальное зрелище кажется нам каким-то сновидением. Прихо-ти короля было достаточно, чтобы превра-тить из белого в чёрное все идеи, все убе-ждения, всю политику представителей на-ции. Мы обращаемся к избирателям. На-род, меняющийся таким образом, народ перемётных сумм был бы достоин только презрения».

Мы читаем в «Мухе», маленькой модной газетке:

«Вчера вечером был большой раут у маркизы Вермилионе-Вермилиони. В пер-вый раз после своего замужества прелест-ная дочь графа Туш-а-Ту открыла свои са-лоны. Она принимала своих гостей с не-подражаемою грациею. Все друзья бывше-го министра собрались в отель Вермилионе протестовать против скандального поведе-ния кавалера Пиборня. Собрание не было многочисленно; было мало депутатов.

Одно слово маркизы имело сильный ус-пех. Ей говорили о политике, которой сле-довал молодой король: "О, – сказала она, – это ребячество!"

Это живо разнеслось по городу; в тот же вечер его повторили в одном доме, где на-ходился кавалер Пиборнь, которого нико-гда нельзя застать врасплох. "Новая поли-тика, – сказал он смеясь, – не нравится прекрасной маркизе? Что мудрёного? Она не нарумянена".

Когда же издадут закон, чтобы обуздать язык адвокатов?»

Нам было бы нетрудно беспредельно увеличить число этих выписок. В одном го-роде «Утехе-на-Золоте» сто ежедневных газет кричат каждое утро, что всё пропало, Правда, сто других газет кричат, что всё спасено. Но к чему утомлять читателя? Не-сомненно одно: революция, которую про-рочат каждый день, совсем не так близка,

как бы того желали иные люди, если верить кавалеру Пиборию, охарактеризовавшему одну остроумною фразою результаты этого газетного потопа:

«Ротозеи, – сказал он, – теперь как собака кузнеца: пока стучат по наковальне, собака спит, а как только шум прекращается, она поднимает голову и открывает глаза».



СНОСКИ:

Художник А. И. Дёмин (Екатеринбург).

Художник – Жан Даржан. Даржан Жан-Эдуард, псевд. Ян'Даржан (Yan Dargent) (1824-1899).

1 "Принц-Собачка" (Prince Caniche, 1861)

Название в журнале «Отечественные записки» «Отечественные записки» №№ 2-4 за 1868 год публиковалась сатирическая сказочная повесть Э. Лабулэ, высмеивающая порядки Наполеона III. (пер. Д. И. Писарев).

2 Touche-a-tout – до всего дотрагивающийся, за всё берущийся.

3 Pleurard – плакса.

4 Pieborgne – кривая сорока.

5 ("Си вис пацем пара беллум") Коли желаешь мира, готовься я войне.

6 Патрульный обход и проверка караулов, постов.



ОГЛАВЛЕНИЕ:

ПРИНЦ-ПУДЕЛЬ 2

I. 2

II. 4

III. О ПОЛИТИЧЕСКОЙ АРИФМЕТИКЕ У РОТОЗЕЕВ. 7

IV. ГИАЦИНТ ОБУЧАЕТСЯ ВЕЛИКОМУ ИСКУССТВУ УПРАВЛЯТЬ. 14

«ОБЩЕЕ ИНСПЕКТИРОВАНИЕ ЮНЫХ РОТОЗЕЕВ ОТ ГОДОВОГО ДО ДЕСЯТИЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА. 15

«НОВЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ, О БЛАГОУСТРОЕНИИ КНИГ И ЖУРНАЛОВ. 18

V. АДВОКАТ ПИБОРНЬ ПОКАЗЫВАЕТ ГИАЦИНТУ ИГРУ ПОЛИТИЧЕСКОГО КРАСНОРЕЧИЯ. 22

VI. 41

VII. ГИАЦИНТ УЗНАЕТ, КАКИМ ОБРАЗОМ РОТО-
ЗЕЯМ ВНУШАЮТ УВАЖЕНИЕ К НАЧАЛЬСТВУ. 41

VIII. В ЧИЖОВКЕ. 46

IX. ПОЯВЛЕНИЕ АРЛЕКИНА. 56

X. СОБАЧЬЯ ФИЛОСОФИЯ. 60

XI. 66

XII. О ПОЛИТИЧЕСКОМ ВЛИЯНИИ СОБАК У РО-
ТОЗЕЕВ. 68

ПРОЕКТ ЗАКОНА ПО ЧАСТИ УСОВЕРШЕНСТВОВА-
НИЯ И ОБНОВЛЕНИЯ СОБАЧЬЕЙ ПОРОДЫ. 73

XIII. SI VIS PACEM, PARA BELLUM. (5) 81

XIV. БИТВА ПРИ НЕСЕДАДЕ. 90

XV. ОБРАТНАЯ СТОРОНА МЕДАЛИ. 98

XVI. 106

XVII. 114

XVIII. 117

XIX. 123

XX. 124

XXI. 126

XXII. ВОЛШЕБНЫЙ ФОНАРЬ. 131

XXIII. ПЕЧАТЬ У РОТОЗЕЕВ. 145

«ГРАЖДАНЕ, БЕРЕГИТЕСЬ! 145

ПРИМЕЧАНИЕ. 148

«НАМ ПИШУТ ИЗ БОРИЕВИЛЯ: 148

СНОСКИ: 153

ОГЛАВЛЕНИЕ: 154

